

В.В. Розанов Сумерки просвещения

По изданию: Собрание сочинений. Том 28. Эстетическое понимание истории. Сумерки просвещения. Москва, 2009 г.

Впервые опубликовано в журнале «Русский Вестник» №1-3, №6, 1893 г. под одноименным названием.

I

"...После сорокадневного брожения в закрытой колбе, вещество оживляется и двигается, что легко видеть. Оно принимает форму, отчасти подобную человеческой, но совершенно прозрачную и еще без *corpus*. После того его нужно кормить *argano sanguinis humani*¹ в продолжение сорока недель и держать постоянно при одинаковой теплоте *ventris equini*²; тогда выйдет совершенно живое человеческое дитя, со всеми членами, какие бывают у всякого другого дитяти, рожденного женщиною, но только гораздо меньшей величины; такое дитя мы называем *Nomunculum*".

Эти слова Парацельса об искусственном, помимо природы, способе образования человека невольно припоминаются при взгляде на ту картину, какую представляет Европа в своих попытках образовать, уединясь от истории, человеческую душу через соединение в ней путем воспитания различных и одинаково ценных качеств. Задача знаменитого алхимика, по своему смыслу и основаниям, была лишь слабым прообразом той задачи, которая с неменьшим упорством и гораздо с большею уверенностью в успехе осуществляется повсюду, во всех странах, в наш век: выработать в искусственных условиях, лишь подражающих природе, живой организм, вырабатываемый только через ее таинственные процессы. Как это ни удивительно, но мечта Руссо, на осуществление которой он едва ли надеялся сам, получила применение в эпоху, во всех других отношениях чуждую какой-либо мечтательности. Уединившись в воображении своем, отвращаясь от живых людей,

¹ тайной человеческой кровью (*лат.*).

² брюшко (*лат.*).

он создал образ Эмиля, этого истинного *Nomuncul'a* новой Европы, по образцу которого с тех пор и до нашего времени множество людей пытаются осуществить ту же мечту. Вне традиций своего народа, вне смысла своей религии, вне целого движения двухтысячелетней истории граждан, отовсюду изгнанный, образовал идею нового гражданина, фикцию, которая могла бы заключать его *общественный договор*, населять его *республику*; и филантропы, законодатели, политики всей Европы, как будто уже слабо чувствуя на плечах своих давление истории, сбросили остатки ее в сторону и обратились к этой же фикции, чтобы ее одну любить, ее осуществлять, ее налагать, как нормирующий образ, на образ живых поколений, перед ними возраставших. И когда на других поприщах, не на воспитательном, неудачи постигали их, они раздражались сетованиями на воспитание, все еще недостаточно приблизившее людей к искусственному представлению человека, какое они составили. Практические люди и теоретики, во всем расходившиеся, соглашались единодушно в том, что здесь лежит ключ ко всякому прочному успеху, и в меру того, насколько они чего-нибудь желали, к чему-нибудь стремились, они прежде всего напрягали усилия, чтобы овладеть этим ключом. Государство, так неизмеримо воспреобладавшее в XIX веке над всеми остальными сторонами народной жизни, естественно и получило в свое обладание этот ключ. Церковь со своим особым кругом понятий и преданий, семья с индивидуализмом своих навыков и стремлений, не говоря о других меньших, но столь же живых и конкретных силах истории, были недоверчиво или пренебрежительно устранены от воспитания. Филантропы и теоретики, насколько они хотели перейти от мечтаний к действительности, должны были войти в сеть административных учреждений, всюду выделенных государствами для осуществления этой цели. Излишнее, индивидуальное, что было в них, они вынуждены были глубоко схоронить в себе и стать, если желали быть чем-нибудь, только исполнителями безлично-общих начал, достаточно зрело уже обдуманых и всюду решенных к применению.

Как институт исключительно правовой, государство не имеет неременной связи с какой-либо религией¹, с определенными формами быта, ни вообще с чем-либо, завещанным из истории, что, развиваясь с ним бок о бок в жизни народной, остается, однако, для него внешним.

¹ Рим языческий до Константина Великого и потом христианский до Ромула Августула, Германия католическая до Карла V и протестантская после него, наконец. Швейцария и Соединенные Штаты без государственной церкви могут служить историческим доказательством этого общего положения.

Не в этом всем, но в особых правовых целях, лежит центр его интереса, неперенные и ненарушимые нормы деятельности, и ко всему прочему, раз оно так же становится предметом его деятельности, оно не может иметь отношения внутреннего, субъективного. Цель в воспитании, тот мысленный образ "человека и гражданина", какой оно стремится осуществить, может стать субъективной целью в государстве; но средства образовать его, но то, с помощью чего этот образ из мысленного мог бы стать действительным, как бы настойчиво они ни были применяемы им, всегда и неизменно будут применяемы лишь внешним образом. Вне отношения к достигаемой цели, в самих себе, они не имеют никакой особой цены для государства; то, что для них есть неперенное и внутреннее, для него есть лишь случайное и побочное. Отсюда — начала выбора, анализа и эклектизма, примененные всюду к этим средствам; отсюда же механизм в самом способе их употребления.

В отдельные светлые моменты истории, как ни противоположны были они по смыслу и духу, человек являлся с чертами хотя и различными, но одинаково прекрасными. В цветущее время античной древности, в первые дни Христианства, в радостный век Возрождения и, наконец, в эпоху великих научных успехов за три последние столетия, он носил облик, резко выделенный, но равно привлекательный. Для всякого, кто стоял в круге особых интересов, какими жила каждая из этих эпох, не могло быть сомнения в их разнородности и несоединимости; но эта разнородность, так живо чувствуемая при субъективном к ним отношении, не могла быть понятна и сколько-нибудь признана государством, равно удаленным от всех них, равно холодным ко всему этому, — и которому, однако, из них именно предстояло выбрать питающие элементы для образования желаемого образа. Соединить разбросанные черты истории, с одним условием, чтобы они были наилучшие, и путь их направить в восприимчивую душу подрастающих поколений — это было единственное, что оно могло сделать, и ему естественно казалось, что в этом лежит верное средство и воспринимающие души сделать как бы отражением всего лучшего, что было в истории. От недостатков в восприятии, от неполноты воспринимаемого могли произойти недостатки и в формируемом духовном образе; но что самый принцип формирования верен — в этом, по-видимому, не предстояло разубеждаться. Натуральная, голая человечность в ее высших формах, какие завещала классическая древность в своей поэзии, в своих мифах и даже в крупных чертах истории, — та же человечность, но уже отвергнутая в наготе своей, как беспомощная, и получившая как бы новое рождение в христианстве, — наконец, несколько простое и грубое, но точное и удивительное знание человека о

себе и о мире, какое достигнуто было им от Коперника и до Фарадея, — все это вошло в круг питающей *arsam sanguinis* нового человека¹.

В составе целого, каждый элемент должен был занять какое-нибудь положение, и естественно, что при объективном, чисто внешнем отношении ко всем им, они должны были расположиться соответственно той важности, какую имели в истории. Для государства, как правового института, чуждого каких-либо субъективных принципов, ни третий, ни в особенности второй из указанных элементов не могли по ценности сравниться с первым — именно по его ясности, по его несвязанности какими бы то ни было темными началами, для права неясными и даже подозрительными. Человек, как он вышел из лона природы, — для государства, выходящего также только из ее лона, естественно должен был казаться наиболее достойным подражания и, следовательно, изучения. Отсюда — перевес, данный всюду древним литературам, большее склонение государственного внимания к филологам, с которыми вне связи на этом пункте вообще у него нет и не может быть ничего общего. Возле классических литератур, как центра в пучке воспринимаемых впечатлений, расположились остальные элементы, несколько ослабленные, сравнительно с этим, в количестве и напряжении действия. Это соотношение, как наилучшее, должно было неизменно сохраняться: в образуемом, эклектически собираемом, духовном существе каждый порознь элемент непременно должен был стать частью, не выходящей из строгого подчинения величине остальных частей, — дробью, никогда не переходящей за некоторый тесный предел².

Когда каждое впечатление в отдельности хорошо и хороша также всякая сумма их, — ясно, что наибольшая из всех сумм должна быть и наилучшая. Из этого принципа, столь ясного, вытекло всюду возможное расширение преподаваемых курсов. Только в утомительности продолжительного и однообразного усвоения все тех же впечатлений это стремление находило себе препятствие, и оно счастливо было

¹ В средней школе, как основном ядре воспитательной системы, установились следующие предметы, соответствующие трем указанным элементам: 1) классические языки, т.е. подготовка к чтению древних писателей, и самое чтение их: поэтов, историков, ораторов, философов; 2) ветхозаветная и новозаветная история, история церкви, церковная догматика и литургика; 3) космография, физика с кратким очерком химии, алгебра и тригонометрия, география. История в отдельных частях своих распределена между этими тремя группами. Новые языки есть средство со временем глубже войти в дух и смысл каждой из этих трех групп предметов. Изучение литературы повсюду имеет местный интерес. Без какого-либо видоизменения по странам, эти предметы всюду в Европе признаны за "общеобразовательные", на усвоение которых назначается возраст от 10—18 лет, и часто дальше.

² Это достигается при помощи балловой системы.

обойдено чередованием разнородных впечатлений. Явное несходство трех главных групп предметов открывало легкую возможность не держать продолжительное время душу воспитывающегося под каким-нибудь одним впечатлением, или под несколькими родственными. Отсюда вытекла принятая всюду система уроков, при которой ни одно впечатление не держится более часа, и иногда менее — 55 минут. Эти впечатления чередуются так, что два смежных всегда не имеют между собой ничего общего. В меру отчетливости и твердости состава этих впечатлений должна была возрасти правильность и в чертах составляемого духовного образа.

Наконец, так как и при этой интенсивной системе усвоения, усвояемый материал все еще был слишком обширен, придумано было сжать каждую часть в нем до *minimum'a*, так, чтобы каждое усвоение, будучи кратко по времени, было в то же время чрезвычайно обильно по количеству. Материал, т.е. духовные плоды, завещанные каждой исторической эпохой, естественно мог подвергнуться этой переработке: Пунические войны, так пространно рассказанные Ливием, могли быть переданы в немногих словах без того, чтобы какой-нибудь факт стоял в них иначе, чем в действительности; судьбы израильского народа, жизнь Спасителя, деяния Апостолов и мучеников представляли столь тесное поле фактов, что, без мелких подробностей, в своих крупных и значащих чертах, они могли быть усваиваемы совершенно быстро. Каждая речь могла быть передана в ее смысле, и каждое событие — в точном наименовании факта. Еще с большим удобством это могло быть применено к результатам новейшего умственного просвещения: открытие Коперника укладывалось в несколько строк, и их не более требовалось для открытий Колумба. Сжато, легко, гладко проскальзывали в устремленное к ним внимание земля и небо, океан и суша, пророки и революция, Гомер и электротехника с помощью особых маленьких книжек, где были для этой особой цели абстрагированы природа и люди. Ряд символов почти заменил ряд фактов, живые лица стали только большими и малыми именами. Что усвоить всякую действительность через эти символы и бесконечные вереницы слов значило почти то же, что ботанизировать в дровяном складе — это могло быть сколько-нибудь понято и признано лишь при субъективном отношении к чему-нибудь, при особой и исключаяющей всякую другую привязанность привязанности к какому-нибудь из живых созданий, к которым был применен этот метод абстракции.

И, наконец, в заботах не только о наибольшем для каждого, но и о наибольшем для всех или очень многих, всюду был установлен способ коллективного обучения. Ученик никогда более не оставался наедине

со своим учителем; учитель никогда не говорил лицу, но только толпе. Все индивидуальное, что было в одном и в другом, заботливо пряталось, люди соприкасались здесь только общими сторонами своего существа. Всегда соединенные, они были, в сущности, все уединены, — и то, в чем они были уединены столь постоянно, было как бы непризнано. Эта непризнанная сторона их существа была в то же время самая главная, потому что в отличие от животного человек именно в индивидуальности своей несет свой существенный, особый смысл; в ней же лежит и родник всякого духовного творчества. Долгое время, в лучшие годы затененная, она мало-помалу атрофировалась, в то время как обские, усваивающие только, стороны души разрастались исключительно при усиленном и непрерывном освещении.

II

Можно думать, что Парацельс, с таким чистосердечием написавший приведенные выше слова, *действительно видел*, как смешанные им вещества принимали человекообразную форму; логическая убежденность, что данное явление должно произойти, иногда делает то, что наши глаза как будто действительно видят ожидаемое явление. Но достаточно было постороннему войти в его лабораторию, чтобы понять, что мертвый матерьял в его "закрытой колбе" и остается безжизненным, как был прежде.

Все чувствуют, и уже давно, в Европе, странную безжизненность возрастающих поколений. Они безжизненны не в одном каком-нибудь отношении, они лишены не которых-нибудь даров, будучи богато оделены другими. Именно ядра в них нет, из которого растет всякий дар, всякий порыв, все энергичное в действии или твердое в сопротивлении. Та "искра Божия", которая светится в человеческом образе часто сквозь мрак, его одевающий, сквозь его грубость, необузданный произвол, невежество, — в этих поколениях, наружно лоснящихся, ничего выдающегося дурного не делающих, как будто погасла, и ее ничто не способно пробудить. Странная антикультурность, на исходе XIX века самой великой в истории культуры, поражает в них: они не только не продолжают своего времени, не суть дети безумного в порывах своих "просвещения" XVIII—XIX веков; они и не принадлежат ни к какой другой эпохе, не сочувствуя и не понимая более ни одной из отживших культур. Христианство с его высоким спиритуализмом, аскетическими подвигами, углубленной, святой лирикой, — ничего не говорит их сердцу, возбуждая или кощунство, или равнодушие, или слабые попытки его переиначить; его и того культа плоти, того самоуслаждения

человека своей красотой, которым жила древность и что вспыхнуло и ярко засветилось на рубеже средней и новой Европы, в них нет не только как собственного чувства, но и как понимания чужого чувства. И нет никакого желания по уединенному труду, по героизму мысли, по отречению ради отыскания истины от всех утех жизни, последовать необозримому множеству тружеников на всех поприщах за три последних века. Как будто какая-то предательская рука, подкравшись к лезущему на Олимп поколению прежних титанов, в миг, когда они были так горды, так упоены близкой победой — оскопила их, и сразу потух свет в их глазах, укротилось желание, спала гордость, и они одинаково безнадежно смотрят на небо и землю.

Даже, не говоря о выдающемся, гениальном или героическом, — среднее становится не под силу этому потускневшему вдруг поколению. Удивительное дело: в ту пору, о которой, как и для нашей страны, для всей Европы можно было повторить, тысячу раз с неправым упреком повторенные, слова:

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь, —

удивительно, что в эпоху этого "немногого и небрежного" учения были люди столь истинного, столь высокого образования, о каком, тщетно и долго обращая глаза вокруг, каждый понимающий, что такое образование, начинает думать невольно как о золотом, манящем предании, которое ничем более не напоминает в действительности. И все это при массе всюду рассеянных точных сведений, при неутомимом труде над книгами, при самом ярком честолюбии именно на этом поприще снискать какие-нибудь лавры. Никогда в желаниях просвещение не было так чтимо, так искомо; и никогда же не было оно в действительности так мало найдено и даже так слабо понимаемо. То эластическое, что есть в нем, что не укладывается ни в какое точное сведение, не приобретает никаким трудолюбием, что есть чистый и произвольный пламень горящей в человеке "искры Божией", которая всякое трудолюбие и все сведения делает лишь пожираемым материалом своим, — того именно и нет в людях, для возжжения чего, однако, так много, так трудно учащихся.

Никогда и никто не пытался связать это угасание в человеке всех высших даров с самими орудиями, которыми, по плану, подготавливается их пробуждение. Все и всегда, сознавая это угасание как ясный и точный факт, стремились найти причину его в слабости этих орудий, в том, что они недостаточно еще предотвращают от воспитываемых грубые

влияния действительности, что "колба", в которой совершается таинственное образование нового человека, недостаточно "закрыта". Но самое легкое размышление могло бы предупредить это бесполезное искание причин не там, где оне: если орудия воспитания, оставляя желать многого в исключительности своего действия, все-таки действуют хорошо и столь продолжительное время — почему так *мало* в них *силы сопротивления*? Откуда это непостижимое явление, что и продолжая им подвергаться, и тотчас по окончании их действия, вновь изготовленные "Homunculi" так совершенно податливы на всякое низменное влияние, и только ко всему достойному, что встретилось бы им на пути, так безучастны? Почему не Вергилий, не Тацит и даже не какая-нибудь из новых хороших книг влечет их и убеждает, но плохой газетный листок и самая обыкновенная страница журнала? То, о чем, по плану, они должны бы и понятия не иметь, с чем не должны бы иметь ничего родственного, странным образом оказывается им близко и совершенно родственно. Напротив, к тому лучшему в современном, к оригинальному, — умному, что, чем бы ни было окрашено, именно по внутренним своим абстрактным достоинствам, должно бы привлекать их абстрактно же к лучшему воспитанный ум, не только не привлекает его, но и остается совершенно для него непонятным. "Procul profanum vulgus"¹, — как бы говорит в своем замысле, в своей идее искусно придуманный, образующий юные души, механизм; и вот, когда из его сети окрыленная душа вылетает, чтобы, кажется, лететь к небесам, — она, бескрылая, падает в самые бездонные низины, к этой ожидающей ее, как-то таинственно ей уже знакомой, profanum vulgus.

III

Не в особенной притягательной силе этих низин следует видеть причину этого падения, но в слабости крыльев, которые не могут поднять над ними душу. Пора, в самом деле, предположить, что эти крылья, искусственно сделанные, искусственно же и прикреплены, а вовсе не выросли из души; и поэтому именно никуда, ни от какой опасности не могут уносить ее.

В постоянном, усиленном стремлении регулировать подробности, в непрекращающихся спорах только о них, о новых комбинациях предметов, о расширении или сужении их объема, о минутах, часах и точных во всем этом отчетах, была опущена общая основа дела, которая, раз обдуманная и решенная, никогда более не возбуждала сомнений.

¹ «Прочь непосвященная чернь» (лат.).

"Закрытая колба", в которой успешно совершалось кипение, могла быть удлинена или утолщена; вещества в ней могли быть перемешиваемы и кое-что, но небольшое, к ним прибавляемо; но чтобы в принципе ее самой, в ее способности дать ожидаемое, кто-нибудь усомнился — этого в рядах тысяч алхимиков, ее построивших, над нею наблюдавших, нельзя было ожидать.

И между тем в том абстрактном, отвлеченном от всяких подробностей, описании этого механизма, где названа одна его сущность, без затеняющей оболочки, едва ли не поймет уже всякий, к чему он способен.

Едва ли кто-нибудь не поймет, чем должна стать развивающаяся душа, в течение 8—10 лет покрываемая тусклыми и слабыми черточками, не тянущимися, перерывающими друг друга, не внедряющимися ни одна так, чтобы всколебать и пробудить собственные силы в почве, на которую она ложится, но в нее не входит. Для всякого должно быть ясно, что если слова Спасителя преобразовали мир и слово Евангелия преобразило не одну душу, — гладкая, проскальзывающая страница о нем, тотчас закрываемая другою страницей, говорящей о бургундах или об Эвклиде, не производит и не может произвести на душу никакого впечатления. И также, чтобы другое из питающего матерьяла мы ни взяли, — общее, что в нем окажется, будет бессилие оставить какой-нибудь след, как-нибудь повлиять, к чему-нибудь поднять душу. За множеством деталей, за тщательным взвешиванием количества поступающих впечатлений, была опущена сама важная сторона в каждом из них: что лишь ничем не прерываемое, входя в душу свободно, неторопливо с ней взаимодействуя, оно оплодотворяет ее; тысячи же прерванных, оскопленных впечатлений оставляют ее бесплодной. Как это ни непостижимо, но идея Локка о *tabula rasa*¹, как о сущности души человеческой, свила себе гнездо в области, едва помнящей его имя и, быть может, к нему неприязненной, и, овладев практикой этой области, погубила бы ее, как погубила она и философию, если бы имела силу овладеть ею. Это он первый, взглянув на душу, как на бессодержательный в самом себе восприимчивый ощущений, тем самым молча открыл свободу для вывода, что чем обильнее и лучше будут самые впечатления, тем содержательнее и, следовательно, глубже и совершеннее будет сам дух человеческий. Тот мир отзвуков, которые каждая душа в меру даров своих дает в ответ на каждое ощущение, — мир, всегда неизмеримо превосходящий бедное в содержании своем ощущение, был забыт при этом и при системе учащенных, через час чередующихся

¹ чистая доска (*лат.*).

впечатлений, — стерт, сведен к небытию, погиб даже, не проросши из семени. И между тем именно в этих вздутиях души, только ожидающих извне прикосновения, чтобы дать трещину и обнаружить свое содержание, и скрываются до времени и невидимо ее крылья, освободить которые из сдерживающей оболочки, укрепить и научить ими управлять — есть вся задача воспитания. Но здесь мы тотчас переходим к необходимости в нем индивидуальности: на одно и то же впечатление всякая отдельная душа ответит разное, и именно в меру того содержания, которое с ней послано в мир. И так как именно раскрыть это содержание должен воспитывающий, он никогда не должен обращаться с чем-нибудь значительным по смыслу к толпе, но всегда и только к лицу. И когда он почему-либо не может этого сделать, ему лучше довольствоваться лишь незначительным и, инстинктивно чувствуя это, он им и довольствуется.

Действие закона этого (который как только нарушен — воспитания нет) и обнаруживается в том, что при усиленном, постоянном, но постоянно же прерываемом внушении определенных привязанностей, интересов, склонностей в школе, эти последние или вовсе не прививаются, или опадают тотчас, как только встречаются потом в жизни малейшее себе препятствие. И, напротив, один уединенный разговор, часто с человеком одинакового умственного развития, или случайно вычитанная мысль становится поворотным пунктом во внутреннем развитии. Каждый, обратясь к воспоминаниям личным, найдет в истории своего духовного возрастания такие поворотные точки; но чтобы которая-нибудь из них связывалась в его воспоминании с одним из тысячи уроков, выслушанных в годы самой горячей восприимчивости, этого, вероятно, никогда и никто не найдет.

IV

Кажется, на начале индивидуальности, но уже не в восприятии, а в творчестве, основано и то, что все созданное человеком в истории может быть понято и почувствовано, только когда к нему прикасаешься в том самом виде, в каком оно было создано. Не говоря об образных искусствах, где это само собою понятно и никогда не оспаривается, и в сфере собственно словесного искусства, т.е. как поэзии, так и вообще всяких словесных памятников, никакая передача не только не усвоит их другому, но и вообще нисколько не приближает этого другого к их пониманию. Это потому, что во всяком создании, где шевельнулся творческий дух, непременно отражается в неуловимых особенностях личность его создателя, не сливающаяся ни с каким другим лицом в

истории. Творит человек, т.е. приносит нечто новое в мир, всегда не общим, что есть у него с другими людьми, но исключительным, что принадлежит ему одному. Однако думать, что *все* произведение состоит из этих творческих особенностей, было бы ошибочно. Придавая ему вечную жизнь и вечную же прелесть для всех людей, эти черты суть только махровый налет на листе, который, как только слетел с них — они становятся похожи на всякие другие листья. Сюжет произведения, его основа или материал — это происхождением своим уже не обязано личному духу, но тем общим человеческим способностям, которые у него одни со всеми прочими людьми. Взятые другим художником и оставаясь те же по существу, они приняли бы на себя совсем иную окраску, печать другого лица, его особой индивидуальности. Во всякой же передаче и остается именно этот сюжет, безлично общий, никому не принадлежащий в особенности и, без сомнения, никому не нужный. Поэтому только неизъяснимо далекой объективностью, какая естественно веет в отношении государства как правового института ко всякому подобному цветку античной древности, христианского мира новых веков, можно объяснить, что при регулировании им воспитания — преимущественным орудием последнего стали эти оголенные листья культуры всех времен. Мы разумеем здесь литературу учебников, где сокращенно все переложено, где всякие трудности для понимания сглажены или обойдены, все особенные зацепы знания тщательно устранены. Гладко, без затруднения, даже в полураскрытое внимание проскальзывают через учебники эти "сюжеты" всех наук, литератур, исторических эпох — все, над чем столько страдали ряды человеческих поколений, что они так трепетно любили и с таким доверием передали нам. Тот "особый и облегченный" путь к науке, о котором Эвклид сурово сказал своему государю, что "его нет и для царей", — этот путь открыт теперь для всякого, не требуя не только каких-либо особых напряжений мысли, но и простой любознательности в силу расставленных по нему приманок. Есть нечто непреодолимо развращающее в этом отношении к науке без соотношения с ней способностей, в постоянном узнавании без соотношения с ним любознательности, в этом многолетнем пожирании плодов с непосаженного дерева, и даже без вопроса, как трудно и долго оно росло и кто и зачем его сажал.

Мы сказали "плодов" в смысле оголенных результатов, а не в том, чтобы это неустанное и обильное усвоение в самом деле заключало в себе какую-нибудь сладость или даже только питательность. Эвклид, отказав Птоломею в особом пути к познанию геометрии, был прав не только как строгий охранитель науки, но он был и справедлив к самому Птоломею, как человеку. Зачем приходиться и учиться, если нет совер-

шенной любви к науке? — и бросать ради поверхностного ее усвоения, ради тщеславного к ней прикосновения, другие, практически поприща, несколько не низкие, которые также требуют любви к себе и отдаваясь которым с любовью и без какой-либо кривизны человек все равно остается достойным? Наука, быть может, в самом деле, есть самое достойное человека поприще; но не тогда, когда она тщеславно окружена, если она всем навязывается, — а когда остается сама собою, т.е. одной из самых трудных и поэтому уединенных сфер человеческой деятельности. И в истории она всегда была такою; но чего не смогли сделать преследования, ненависть к ней — побороть ее, то сделала нерассудительная к ней любовь, развратив ее. И в самом деле, как люди, без труда в нее углубляющиеся, не приносящие ей никакого дара, имеют только подобие просвещения, так и она сама, не принимающая более никаких жертв, стала лишь подобием когда-то строгой, уединенной, труднодоступной науки, и свет ее тускл и ложен.

Ложность этого просвещения — мы возвращаемся к тесной, рассматриваемой нами области воспитания — сказывается в том, что на общие, не индивидуальные стороны развивающейся души не индивидуальными же, общими сторонами своими действует и весь питающий ее матерьял. Отдельные эпохи истории и великие произведения слова, передаваясь, первые — в кратком изложении событий и вторые — в "образцах", сопровождаемых обзором остального, есть именно то отряхание махровости с продуктов человеческой культуры, то бесплодное собирание оголенных листьев, о котором мы говорили выше. Только с любовью, долго, при собственных дарах или любящем учителе, оставившись на самом кратком, в несколько минут прочитываемом произведении, можно впитать из него тот аромат, который оно содержит в себе, живую же душой отозваться на ту жизнь, которая таинственно завита в нем его давно умершим творцом, и, отозвавшись, пластически видоизменить свою душу под прекрасным, благородным впечатлением, на нее павшим. Но думать, что хоть тень этого воспитывающего действия может произойти при изучении великих произведений с часовым циферблатом в руке, — есть заблуждение, которого, поистине, нельзя не назвать безумным. И также безумно думать, что имеет какое-нибудь значение, к чему-нибудь относится "изложение остальных частей сюжета", что, как рысь за торопливым шагом, всегда следует за чтением "образца". Кто это делает, кто вынужден это делать год за годом, и по смерти его снова же год за годом другой, не может не чувствовать при этом болезненного ощущения, и оно отсутствует лишь у тех руководителей, которые тускло знают вечный предмет своей кастрации, и потому ничего в нем особенного не любят и ни о чем не жалеют.

Едва ли не этим следует объяснить отсутствие каких-либо привязанностей, цинизм в отношении ко всякой культуре, с каким подрастающие поколения всех стран, целой Европы, стремятся на ветхую, тучную почву своей родины, чтобы, мелко потоптавшись на ней, — умереть, ничего не прибавив к ее богатствам. И в самом деле, если в быстрой перемежаемости всех впечатлений лежит субъективное основание этого факта, то в оголенности их всех лежит его объективное основание. Не только *нечем* воспитывающимся привязаться к истории, к культуре за недостатком развития в них индивидуальности; но и *не к чему* в ней привязаться им за устранением в питающем материале этого же индивидуального, особенного, — за скрытием истинной красоты в нем и истинного величия. Потому что, например, на четырех страничках ознакомиться с деятельностью Вселенских соборов, или в четырнадцати строках, — с деятельностью Базельского или Константинопольского собора — это не только все равно, что ничего не узнать о них, это значит узнать о них постыдно-ложное, нестерпимо-клеветническое. Пусть бы лучше, взглянув на ветхие фолианты, где записаны акты этих соборов, всякий подумал: "Есть нечто великое, чего я не знаю", — не жели, пропустив скользнуть в себя десяток страничек, думать: "Было то-то и то-то, что я знаю, но зачем узнал — не знаю". Это особенность современного образования, что, воспринимая лишь схемы всего действительного, что было прежде и существует теперь, воспитываемые не только ни о чем действительном не имеют понятия, но и имеют ложное и наглое понятие, будто бы все, но лишь без подробностей, они уже знают. Подробности же, естественно, им кажутся менее значительными, и если уже "главное" так мало привязало их, так мало заинтересовало, они думают не без ребяческого основания, что еще менее могли бы заинтересовать их достойные внимания эти опущенные подробности. Что *именно только в одних подробностях* узнается и смысл главного, это так же далеко от их мысли, как и от представления ко всему объективно, схематично, относящегося государства.

Как пыль на окраине дремучего леса, где можно и заблудиться, но и испытать великие ощущения, где есть рытвины, болота, непроходимые трупщобы, но есть и светлые, величественные картины, куда вступая всякий невольно оставляет кощунственную улыбку и лицо его принимает строгое выражение, — как пыль на краю подобного леса поднялся на окраине двухтысячелетней европейской культуры легкий рой бумажных листков, который закрыл его от глаз тех, кому на благоговейном созерцании этого леса следовало бы воспитываться, приучаться к добру, и более всего — приучаться к серьезности, к сознанию своего личного ничтожества и торжественной святости окружающего. О, по-

том, много лет спустя, будут все те же кружащиеся перед глазами листки! Но существенно, что и в самом восприимчивом возрасте, когда окрыляется душа, она не видит перед собой уединенных, седых вершин, не приучается бояться, благоговеть, трепетать перед недосыгаемо высоким, а только вынуждена подпрыгивать в уровень с этими листками, чтобы наловить их, насобирать, — со странной иллюзией, что в них есть что-нибудь ценное. Мы выше сказали, что все удивляются, почему в момент, когда бы крылья уже должны быть выросшие и крепкие, души подрастающих поколений падают в самую непроходимую тину. Но как и куда бы полетели они, никогда не поднимавшись высоко? Как не почувствовать им влечения к вульгарному, когда обо всем великом они узнали лишь в вульгарных же формах, на вульгарном, скользком языке своих бедных "руководств", с вульгарными, деланными восхвалениями или порицаниями и чаще всего, для краткости, даже без них. Поистине, фальшиво трескучая страница журнала покажется им согретою истинной теплотой сердца, когда даже этой фальшивой теплоты они никогда не знали в детстве и юности; все им покажется там серьезно, влекуще, потому что все и действительно серьезнее, привлекательнее, нежели не предметы их долгого воспитания — о, нет! — а орудия обращения к этим предметам, действие которых одних они и испытали, самих же предметов не видели.

V

Думать, что в отдельные циклы истории красота человеческой природы была лишь нарастающею и что в каждом индивидууме можно соединить ее отдельные тени, — это также ошибочно и вытекает из отсутствия истинного знания о которой-нибудь из этих теней. Только отряхая с человека прежнюю красоту, отрицая ее как величайшую себе противоположность, появлялся на нем новый убор сложных идей и глубоких чувств. "Все добродетели греков и римлян были лишь красивые пороки", — говорили христиане первых веков, говорили о том, что мы, не имея уже и тени их чувств, любим, чем восхищаемся и что избираем, как предмет подражания для детей своих. Мать Павзания, первая принесшая камень, чтобы завалить выход из храма, куда спрятался ее испуганный сын, для христианина есть лишь дурная мать, бесчеловечная, и даже, насколько в нас сохранилось христианских чувств, мы желали бы скорее предохранить наших детей от подражания ей, нежели выставлять ее для них, как пример героизма. И если как подобный пример она выставляется в учебниках, то ведь потому именно, что это — книги межкультурные, что они ни из языческого

мира, ни из христианского, ничего в них не почувствовано и ничего же не соображено. И, с другой стороны, когда в тысячелетней средневековой культуре упоминались христианские чувства и снова, пробивая толщу веков, брызнул холодный и прекрасный родник античных чувств, чем стали для него все христианские понятия? Что из них было одобрено, убрано новой красотой? "Всякая проститутка лучше монаха", — передавались из уст в уста злобные слова светилы гуманизма, Лоренцо Баллы; когда папа Николай V умер, в комнате его, уставленной богатыми рукописями антиков, не нашли ни Библии, ни Евангелия. То есть с ярким, страстным ощущением древней красоты потухли христианские чувства, стали холодны, опали; как, напротив, тысячелетие назад с живым ощущением христианства поблек античный мир идей и чувств. В каждый момент своей жизни историческое человечество любит что-нибудь одно, перед этим одним преклоняется, его считает величайшею святынею своего сердца и высшим авторитетом для своего ума; и нужно многому пройти, нужны долгие разочарования, неудачи, наконец, сон отдохновения, тянущийся иногда века, чтобы, проснувшись к новому пустым от прежних чувств, стать способным набирать в себя иные чувства, отличные от тех, какими оно жило ранее. И то, что справедливо относительно собирательного человечества, справедливо и относительно отдельного человека; по самой природе своей человек есть монотеист, т.е. может поклоняться только одному Богу, и когда поклоняется двум — ни которому не поклоняется, но перед обоими лукавит. Это-то лукавое перед всем преклонение, соединенное с холодной готовностью все предать, и есть истинный результат того синтетического воспитания, через которое проводятся всюду подрастающие поколения Европы. Ни любители они древности, ни истинные христиане, ни самоотверженные искатели истины — они между всем этим, вне которой-либо из культур, т.е. не несут на себе более ни одной из них. От этого, при существовании у них смутного религиозного чувства, они не знают, удовлетворить ли его христианством или буддизмом; будучи довольно начитаны в новых книгах и помня еще много из старого, выдумывают новую мораль, удобно соединяющую то и другое. По самому воспитанию своему, по долгим годам привычки они склонны ко всему эклектическому и ни к какому сильному отрицанию или сильному утверждению.

VI

То, что мы сказали до сих пор, относится к принципам, на которых построена самая техника воспитания. Но мы едва упомянули о его по-

ложении между другими элементами текущей истории, в ряду других, столь же существенных нитей жизни, общая ткань которых образует цивилизацию.

По самой своей сущности, как хранитель внешних и строгих прав, государство противоположно семье, где все отношения суть внутренние, эластично изменчивы и мягки, не строго принудительны и потому неправильны. Их отношение, их особенные качества можно понять, сравнив первое со строгой и ясной, но бедной содержанием, геометрической фигурой, а вторую приравняв к форме цветка, растения, какого-либо реального предмета, гораздо более содержательной, но менее правильной. Во всяком случае, имея противоположные принципы, эти два мира, большой и малый, будучи равно необходимы для человека, одинаково священны для него, не могут, не теряя своей сущности, смотреть на что-либо с точки зрения принципа другого. И воспитание, раз став задачей большего из этих миров, всем складом и смыслом своим встало против меньшего; и в то же время наиболее страдательные и слабые элементы этого меньшего мира стали объектом применения принципов, противоположных тем, на каких он зиждется. Строгая, внешняя абстрактная форма, которая чувствует и сдерживает в их границах лишь группы людей, но не видит лиц, не знает их имени, их прошедшего, их надежд на будущее, — это так же неотделимо от самого понятия о государстве, как именно вникание в лицо, надежды, лелеемые о его будущем, горькое или сладкое воспоминание о его прошлом, — составляют постоянную жизнь семьи, ее поэзию, на которую она чувствует право. Отсюда — таящийся всюду антагонизм между семьей и школой, несмотря на видимый их союз между собою. Семья не может, не в состоянии признать тех неизменных норм, которые прилагаются к столь изменчивому, так безгранично разнообразящемуся объекту, как ее растущие порождения; она видит в них некоторую слепоту к этому объекту, сухость и узость воззрения на него; она постоянно критикует, и ее критика, исходя из сердца, бывает страстна, неправильна в частностях, но права в самом общем основании. Будучи невидима для школы, она развивается тем свободнее, пристрастнее, и от школы всегда переходит на государство, органом которого служит школа. Подрастающие поколения являются свидетелями и участниками этой критики, дающими материал для нее, могущими ее искусно возбудить и направить, и они делают это во всех случаях, когда им требуется избежать критики, направленной на них самих. Таким образом, нравственное ее действие обнаруживается именно на них, на ослаблении в них мужества и чувства долга, ответственности, на чрезвычайно раннем приучении их к хитрости, к предательскому от-

ношению к школе, когда они бывают в семье, и к семье, когда они бывают в школе. Они чувствуют, что в этой последней есть готовность отнести все в них хорошее к своему действию, к своему начинанию, и все дурное отнести к семье, принять за результат ее действия, и индивидуально воспитываемому не поставить в вину. Что эти последние, таким образом, делаются молчаливыми участниками критики своей семьи, это не только не противоречит, но входит в виды школы, перетягивающей к себе симпатии младших членов стареющего и ей — она знает — тайно враждебного поколения. Что если не привязанность, то *pietas*¹ к семье действительно колеблется — этого школа достигает; но тем слабее становится привязанность к ней самой в растерянных членах колеблющейся семьи.

Не менее противоположности находится в принципах государства и церкви. Последняя еще универсальнее, чем государство; древнее, нежели оно, но с этим вместе, обращаясь лишь к совести человека, она и вполне индивидуальна — различает лица, имена, прошедшее и будущее индивидуума, к чему всему государство слепо. Но древние основания, из которых она исходит, обращаясь к совести, все — мистического происхождения; напротив, в государстве все основания новы и рассудочны; они к тому же и изменчивы сообразно изменяющемуся рассуждению, тогда как основания церкви вечны именно в силу того, что они не рациональны. Эта вечность каких-то неясных основ, конечно, признанная государством, но им не понятая, остается не только непонятою, но и тайно непризнанною менее связанными в своих мыслях юными поколениями, насколько они воспитываются в рассудочных, ясных принципах, которыми проникнута школа в каждом биении своей жизни, кроме немногих специальных, отведенных для освоения с учением церкви. В силу органического характера, который непреодолимо принимает всякое *развитие*, и в том числе духовное, преобладающий тип этого развития всегда подчиняет себе другой, слабейший, но вовсе не совмещается с ним эклектически. Отсюда — многим непонятная и для всех усилий непобедимая антирелигиозность, которая при государственном воспитании замечается всюду в подрастающих поколениях Европы. Ее невидный корень кроется в единстве типа, который непреодолимо стремится принять в себя всякая развивающаяся душа, и поэтому выбрасывает из себя все, что не отвечает главному типу, наиболее в ней влиятельному, чаще всего ей внушаемому и для нее самой, еще неокрыленной для высот созерцания, наиболее ясному и вразумительному. Трезвость ребяческого суждения легко роднится со старче-

¹ преданность (лат.).

ской рассудочностью государства, как дитя, минуя родителей, легко дружится с дедом.

Принцип государственности, несравненно менее выработанный, развитый в новом мире, нежели как был он выработан в античном мире, не разрушаясь, но лишь суживаясь, мог бы применяться к принципу церкви; напротив, последний, будучи не только очень выработан, но и в высшей степени неизменим по своему священному смыслу, всякий раз, когда применяется к чему-либо, вовсе не суживаясь, — разрушается. Пример высокой, хотя несколько узкой верности отечеству, которая в Древней Руси совершенно гармонировала со строгой и выдержанной церковностью, может служить подтверждением одной части сказанного; пример развитой государственности, с которой едва уживается церковность в новое время (Франция), может служить подтверждением другой части сказанного.

VII

Не будучи само по себе воспитательно, но заимствуя для воспитания элементы из других сфер — античной древности, христианства, наук и философии, — государство оценивает степень воспитания мерою матерьяла, который через него усваивается. И так как каждая часть этого матерьяла с его стороны лишь передается, а не усваивается через непосредственное в нем самом созерцание, то все воспитание естественно получило характер усвоения переданного, т. е. книжный. Для церкви "воспитанный" значит религиозный; для семьи — это значит любящий, преданный; и даже для всякого свободного мыслителя "воспитанный" значит крепкий в суждении, сильный в испытании природы. Напротив, для государства, ко всему этому индифферентного, во всем этом темного, "воспитанный" значит *усвоивший* правила веры, *знающий* сыновние обязанности, наконец, уже достаточно *обогащенный* сведениями. Все реальные ощущения, качества, идеи для него заменяются идеями, качествами, ощущениями, *сознаваемыми как должное*, — запомненными, а не испытываемыми. Что переживает человек, умиленно где-нибудь, когда-нибудь, ни для кого не видно молясь, — этого оно не знает; и заслугу этого оно не признает по ясному, твердо очерченному, все измеряющему своему характеру. Так же точно и по той же причине для него неуловим и им остается непризнан всякий художественный восторг, каждое умственное увлечение, все внутреннее, что мы невольно соединяем с образом воспитанного и развитого человека. Для признания и оценки всего этого ему нужно, чтобы оно было выражено в ясных, измеримых фактах: в часах и минутах, у него на глазах прове-

денных в молитве, в запомненном поэтическом произведении, в количестве усвоенных знаний. Как это ни удивительно, но это истина: что чрезмерно книжный, мозговой, исключительно номиналистический характер воспитания всюду получило через направление его учреждением, вообще с книжностью не имеющим ничего общего, но в сферах, откуда оно берет свой материал, эта книжность есть все-таки единственно ощутимое для него, единственно измеримое, — хотя бы ему и ненужное, малопонятное.

От этого, опасаясь как-нибудь не выполнить свою задачу, оно боится всякого реального созерцания, которое могло бы отнять минуту у книжного усвоения; боится лишнего часа, проведенного в церкви, который оставил бы незаполненную лишнюю страницу из "Катехизиса"; отвергает, как совершенно излишнее, непосредственное созерцание природы, которое могло бы оставить не разученным важнейшее отражения этого созерцания в поэзии или искусстве. "Бежин луг" Тургенева, "Днепр" Гоголя — это ему нравится; но час, проведенный действительно на Днепре, или ночь, проведенная группой детей в лугу, за околицей, — это только праздность, почти достойная наказания.

В поколении, проходящем через подобное воспитание, его влияние отражается тем, что можно было бы назвать "отсутствием природы". Обремененное сознание, скорее даже просто память, чрезмерно перевешивает все сильные, страстные или деятельные, стороны души. При лучших успехах этого воспитания действительность, наконец, просто теряет интерес для воспитываемых, они сохраняют способность переживать ее лишь книжно — природу как предмет для поэзии, как напоминание о ней, жизнь — как предмет для размышлений, для теоретических выкладок. В них утрачивается вкус к самой жизни; даже понимая ее умом как главное, существеннейшее, они уже ощущают ее лишь как второстепенное, отражающееся в сознании. Таким образом, выходит, что самое деятельное и энергичное из созданий истории, взяв на себя несоответствующую задачу воспитания, порождает самое вялое в ней и бездеятельное.

VIII

Можно было думать, что ранее или позже кто-нибудь почувствует всю яркую несостоятельность этих принципов, легшую в основу воспитания. Уже самая идея его, создание человека вне духа своей культуры, синтетически собранного из элементов всех цивилизаций, есть идея крайне искусственная, могшая зародиться только в такой искусственной голове, как у Руссо. Но если в этой искусственной идее было еще

нечто мечтательное и потому влекущее, то она стала только уродлива, когда за ее осуществление взялись жесткие руки, ничего общего с мечтательностью не имеющие. Впервые в истории мы наблюдаем в нашем веке, что не ученые, не церковь, не семья, не любители души человеческой и знатоки ее сокровищ, но темное во всем этом государство, сложив оружие и заменив бранные клики колыбельною песнью, начало пестовать юные поколения от самого раннего отрочества до полной возмужалости. Римляне устыдились бы этого; греки разразились бы неудержимым смехом, и никогда вечно юные гуманисты или угрюмые отшельники Оксфорда и Кембриджа не допустили бы этой замены себя княжескими или королевскими чиновниками.

"Не знаю, в каком музее хранится рисунок художника недоброй памяти, Бачио Бандинелли, изображающий его собственную мастерскую.

Рисунок этот знаменит. Он воспроизведен во многих художественных изданиях. Нельзя взглянуть на эти снимки без умиления и зависти.

Вечер. В обширной бедной комнате собралась семья учеников многогрешного мастера и расположилась двумя тесными группами, чтобы пользоваться скудными источниками света. Налево, у высокого камина, в коем подвешен первобытный светец, уселись два рисовальщика. Один из них, цветущий юноша, усердно чертит на доске, лежащей на его колене. Двое других юношей, стоя за его стулом, смотрят на его работу и шепотом сообщают друг другу свои замечания. С другой стороны камина ученик более зрелых лет, также с рисунком на коленях, закрыл лицо руками и погрузился в глубокую думу. За ним стоит юноша, обрашающийся к свету начатый рисунок и стирающий на нем неудавшуюся черту.

Направо, около длинного стола, собрана другая группа. Вокруг дымной лампы рисуют три ученика. На конце стола сидит сам учитель и обращает к рисующим спокойную речь. За ним стоят два зрелых мужа — художники или ученые, и как бы дополняют и поясняют его поучения. Двое юношей, стоя, прислушиваются. В комнате тишина; перед очагом дремлет кот; спит и собака, свернувшись на полу. На полу же и на длинной полке, бегущей вдоль стены, разбросаны фолианты, обломки статуэток, кости человеческого скелета...

О чем ведет речь горделивый художник? Восхваляет ли он тонкую прелесть создания своего великого друга, несравненного Леонардо? Или старается он умалить в глазах своих учеников исполинский образ Микель Анджело, этот вечный предмет его зависти, его подражания, его тайных угрызений совести? Или он просто развивает свои взгляды на художественное творчество, на задачи живописи и ваяния? Вероят-

нее последнее. Ибо перед его рисующими учениками нет образцов. Не снимками с натуры, с чужих произведений заняты они, но попытками самостоятельного творчества под глазами учителя, прислушиваясь к его веским речам, к мудрой беседе его опытных друзей.

Как бы то ни было, с изумительною живостью воскресает перед нами в этом рисунке та простая, строгая, патриархальная школа, которую проходили великие художники XVI века. Могут ли соперничать с нею наши современные художественные школы со своим роскошным аппаратом образцов и пособий, с массою разнообразных сил, художественных и учебных, привлекаемых к преподаванию, с ежегодно возрастающею толпою своих учеников? Кто руководит этою массою учащихся, что согревает их душу, кто направляет и поддерживает их первые, колеблющиеся шаги на пути самостоятельного творчества? Сравните грустный рассказ одного из наших скульпторов о годах, проведенных им в Академии художеств, с красноречивым рисунком Бачио Бандинелли и скажите, вправе ли мы гордиться нашими официальными храмами художеств?

Искусство — цветок прихотливый и нежный, и возрастить его в тепличной атмосфере не удастся. Ему нужно Божие небо, трезвящая прохлада горных вершин, свет и тепло неподдельного солнца. Можно придумать, можно устроить, можно купить преподавание технических приемов, необходимых каждому искусству. Но воздействие творческого духа великих художников на зарождающиеся таланты не может быть ни организовано, ни предписано; это — свободный процесс, вытекающий из неуловимого сродства духовных складов и дарований, это — таинство, совершающееся только силою любви.

В цветущие времена пластических искусств всякий именитый художник творил, окруженный толпою им избранных, его избравших учеников. Эти юноши составляли его семью, были свидетелями и участниками его трудов, постоянными его собеседниками. Под глазами мастера, при драгоценной его помощи и словом и делом возникали их первые творения. Кроме наставлений учителя они пользовались беседою зрелых людей мысли и слова, всегда группирующихся вокруг выдающихся художественных деятелей. Этим путем укреплялось, расширялось умственное развитие, столь необходимое художнику, столь труднодостижимое для него путем школьного учения, ибо времени на него мало за обязательным упражнением в художественном делании. Ученики великого мастера знакомились в его мастерской с выдающимися представителями общества духовного и светского, с корифеями иных областей творчества, поэтами, музыкантами. Молодые их годы озарялись отблеском той полной художественной жизни, кою жил их

учитель. Зарождающиеся таланты встречали тонких ценителей, могучих покровителей.

И, что всего важнее, у них на глазах совершалось художественное творчество учителя. Сокровенная суть этого творчества, конечно, ускользает от всякого наблюдения. Но в искусствах пластических всякая стадия этого процесса воплощается в видимых творениях — эскизах, этюдах, постепенно совершающихся рисунках. При самом окончательном исполнении, замысел художника очищается и преобразуется. Из всей этой видимой работы мастера чуткий ученик почерпает бесконечный ряд незаменимых поучений. А индивидуальная забота учителя о каждом из учеников? А указание, всякому в отдельности, тех работ, которые ему нужны для усовершенствования его техники, для расширения его художественного понимания? А совет и помощь учителя при первых шагах ученика в области самостоятельного творчества?

Но все это, — возразят мне, — принадлежит далекому, невозвратному прошлому. Иные времена, иные нравы. Изменилось общественное положение художников, изменились условия художественной деятельности. Современные формы художественного образования — единственные возможные в наш век широкой, поспешной деятельности по всем отраслям человеческого творчества. Их постоянство, их правильность, их многосторонность — великий прогресс сравнительно со случайными, часто односторонними формами, которые принимало это преподавание во времена былые".

"Не могу в этом согласиться. Сущность искусства"¹... и умственного творчества, и всякой духовной жизни — одна и вечна для всех времен; и должна ли она сохраниться при неправильных, случайных, индивидуализирующихся условиях своего возрастания, или эти условия должны стать правильными, для всех общими, размеренными, и тогда исчезнет эта жизнь, они же останутся существовать "an und fur sich"².

Вот антитеза, и яркое ее сознание, чем далее будет расширяться и укрепляться, тем слабее будут становиться ветхие, не питающие корни, на которых стоит бесплодное дерево современного просвещения. Не давая ни совершенной тени, ни совершенного света, оно порождает томительные сумерки, в которых задыхается Европа, никогда еще не знавшая такого бесплодия для своих творческих сил, никнет христианская жизнь, точно спрыснутая какою-то мертвою, отравляющею во-

¹ Сельская школа. Сборник статей С.А. Рачинского. М., 1892, стр. 171—174.

² «для себя самой» (нем.).

дой.

IX

В приведенном, манящем образе конкретно и положительно выражено все, что было сказано мною отрицательно и абстрактно о принципах, залегших в систему нового воспитания. Можно сказать, что — это вздох, столько же вызванный воспоминанием о прошлом, как и сознанием гнетущей тяжести настоящего. В нем уже завиты все мотивы, из которых, как антитеза прежней, не питающей школы, могла бы вырасти и пышно расцвести школа новая.

Свобода, прихотливая изменчивость форм, теснота внутреннего общения, всегда личного, никогда общего; впечатления, тянущиеся, непрерываемые, ложащиеся друг возле друга, повинуюсь родству своему, а не удобству совмещения во времени, наконец, "избранный учитель и свободно избравший его ученик" в непринужденной беседе, никуда не торопящейся, — не это ли рассвет просвещения, новая юность его, которая возможна, которая ожидает нас?

Кто не припомнит правил ложноклассической школы, так строгих, так, по-видимому, рассудительных, которые два века держали в своих холодных оковах поэзию? И кто же не вспомнит бурного взрыва истинной поэзии, когда, с падением этих правил, для нее, казалось, утратилась всякая форма и с нею возможность какого-нибудь выражения? Можно было подумать, что чудовища полезут из пропасти, куда свалились Буало, Лагарп; но из нее поднялись произрастания такой свежести, силы, красоты, взглянув на которые мир тотчас понял, как уродливы были красивые боги, которым он поклонялся дотолле.

Но то были боги, хотя и бездушные, но красивые; есть ли даже эта красивость в богах, которым мы поклоняемся, которым мы не хотели бы поклоняться, но не можем, потому что они одни поднимаются перед нами? Да и боги ли это? Разве в невыносимом стыде они не слезают сами поспешно с высоты, не гасят курительницы, перед ними поставленные, и не прячутся в толпу, ища и не находя, как и она, предмета для поклонения. В таких сумерках, когда небо не освещается ни солнцем, ни луной и звездами, чтобы ни произошло на земле, на ней не будет темнее.

Но мы думаем, что темнота эта временная; что это не последняя, уже никогда не проходящая ночь, а лишь временное закрытие света "иным инородным телом". Источники света еще не погасли в человечестве; но что они не могут прорваться, или если и прорываются, то лишь в уродливом виде — это должно быть очевидно из всего, что было сказано выше о самих условиях этого прорывания. Нет, не боги нас

оставили; но в безумных попытках облегчить им рождение, мы со своим низменным искусством так затруднили это рождение, что вот уже не одно десятилетие, оглядываясь во все стороны, ниоткуда не видим светящейся, поднимающейся головы, перед которой с благоговением могли бы снова зажечь погасший фимиам.

Х

В ряде очерков, внушенных скорее художественным чувством, нежели методическим размышлением, г. Рачинский указывает всю затруднительность этого духовного рождения в наше время; в миниатюрном виде, в сельской уединенной школе, он практически пытается осуществить новые и лучшие условия такого рождения. Было бы напрасно и ошибочно видеть в элементарном обучении весь предмет его размышлений и забот, хотя, по-видимому, они относятся только к нему. Но *метод* отношения этого всякий вправе распространить на весь строй воспитания как элементарного, так и самого высшего; как, с другой стороны, по отношению собственно к сельской школе, каждый же может, в своей идее, сузить или несколько видоизменить его требования.

Прежде всего спросим: есть ли наш сельский необученный люд что-то совершенно не культурное, первобытное; или, напротив, он культурен и вовсе не первобытен? Его сведения элементарны и не научны; к тому же они все носят эмпирический характер, и эмпирический же склад носит его ум, трудно поддающийся всякой попытке вовлечь его в продолжительное рассуждение, в последовательное обдумывание; далее, наши живые сокровища недоступны ему, и с ними недоступны наука в вековом своем богатстве, и родная литература; наконец, политические страсти, которые владеют нами, его не занимают. Но исчерпывается ли этим понятие культуры, и что такое вообще она?

Ближайшее и родственное с этим понятием есть понятие "культы": культура есть все, в чем завит, скрыт какой-нибудь культ. Поэтому первобытный, элементарный человек есть не только тот, кто, озирая мир новыми и изумленными глазами, ничего не различает в нем и одинаково дивится солнцу и пылающему вдали костру, но и тот, кто всему перестав изумляться, ко всему охладев, так же, как и дикарь, только ощущает свои потребности и удовлетворяет им. По духовному содержанию своему товарищ Ромула и друг Каракаллы одинаково были бедны и, следовательно, бескультурны. Но тотчас, как человек отступает от этой первобытной элементарности, и чем далее он отступает, он становится культурен. В чем же выражается это отступление?

В том, что противоположно элементарности, — в *сложности*. В понятии *культы* содержится внутренний, духовный смысл культуры; в понятии "сложности" содержится ее внешнее определение. Культурен тот, кто не только носит в себе какой-нибудь культ, но кто и сложен, т.е. не прост, не однообразен в идеях своих, в чувствах, в стремлениях, — наконец, в навыках и всем складе жизни.

Дикарь, будет ли он взят из ранней или слишком поздней фазы развития, не только не носит в себе какого-нибудь культа, но он и прост на всем протяжении своего существования и во всех его направлениях: потребность удовлетворить голод или защититься от стужи есть по существу своему одна потребность, — в одинаковой степени настоятельная, к одному направленная. То же можно сказать и о всем прочем, чего желает или за что берется дикарь.

Понятие сложности настолько ясно, что не требует каких-либо для себя разъяснений; напротив, более внутреннее понятие культа нуждается в таком объяснении.

Культ есть внутреннее и особенное внимание к чему-нибудь — предпочтение некоторого всему остальному. Дикарь, о котором сказали мы, что он на всю природу смотрит равно изумленным или, напротив, равно охладевшим взглядом, — не имеет ни к чему в ней особенного предпочтения; ни к чему он не привязан, ничего горячее не любит. По отношению к внутреннему существу его все предметы, большие и малые, ценные и незначительные, равно удалены, т.е. для него нет, собственно, ничего ценного, и в этом именно заключается сущность его бескультурности.

Культура начинается там, где начинается любовь, где возникает привязанность; где взгляд человека, неопределенно блуждавший повсюду, на чем-нибудь останавливается и уже не ищет отойти от него. Тотчас, как произошло это, является и внешнее выражение культуры, сложность: новые и особые чувства отличаются от прежних, обыкновенных. Они выделяются, образуют свежую и особенную ветвь в духовном существе человека, рост которой обыкновенно сосредоточивает в себе все его дальнейшее развитие, требует всех его сил.

Предметом культа может быть все, в меру духовных даров того, в ком культ. Им может быть земля, с любовью и вниманием возделываемая, когда человек смотрит на нее как на "кормилицу" свою, детей своих, своих предков; когда бесплодие ее он считает себе "наказанием Божиим"; и напротив, человек дик, бескультурен относительно земли, когда поступает с ней как хищник, ворующий ее дары и с ними убегающий на другое поле, чтобы также обокрасть и его, обесплодить и бросить. Предметом такого же различного отношения может быть до-

машний кров, — или гнездо, где человек вырос, где схоронены ему близкие, которые он уьет, сбережет своим детям; или помещение, где он находится до приискания другого, удобнейшего. Свой край, наконец, родина, суть более обширные, но однородные с этими предметы культа, особой любви. Но здесь повсюду ими служат собственно не эти предметы, а сам человек и его ближние; только через себя и этих ближних он любит их, чтит, предпочитает всем подобным и даже лучшим, где нет этих ближних. Есть иные предметы, чисто духовные, которые человек окружает также благоговением, но уже не ради себя, но, напротив, себя оценивает в меру того, насколько он крепок им, предан. Это уже чрезмерно высокая степень духовного развития, поднявшись на которую человек разрывает со своей животностью. Ученый, в нужде, в скитаниях снискивающий себе пропитание и все-таки не оставляющий любимых занятий, держащийся любимых идей, — есть простой и ясный пример подобного культа к науке. Джордано Бруно, всходящий на костер за дорогию, открытую им истину, быть может, за заблуждение своего ума, — вот высокий образец культа, к какому способен подняться человек. Он может ошибаться или быть правым; но и в ошибках, и в правде своей, чем бы и где, и когда он ни был, он — человек, дотоле и в меру того, доколе любит, насколько чтит, преклоняется. В способности преклониться, понять иное неизмеримо высшим, драгоценнейшим, чем он сам, — есть совершенно исключительная особенность человека, высшее достоинство, красота его.

В этом точном значении культура есть синтез всего желаемого в истории: из нее ничто не исключается, в нее одинаково входят религия, государство, искусство, семья, наконец, весь склад жизни личной и общественной. Все это, насколько оно зиждется, возрастает, — навивает на человека одну черту сложности за другой, обогащая его сердце, возвышая ум, укрепляя волю. И, напротив, насколько это разрушается, с человека сходит одна черта за другой, пока он не останется прост, обнажен от всего, как тогда, когда вышел из лона природы.

Теперь, если мы примем это объяснение культуры, — а другого нет для нее по самому смыслу слова¹, — то вопрос, поставленный выше, получает ясное разрешение: будучи чрезвычайно первобытен во всем второстепенном, наш простой народ в то же время во всем существенном, важном, высоко и строго культурен. Собственно, бескультурно то, что вокруг него, среди чего он живет, трудится, рождается, умирает; но внутри себя, но он сам, но его душа и жизнь — культурны. В этом

¹ Colo — чту, потом возделываю, обрабатываю, развиваю то, что чту: отсюда — cultum.

отношении он составляет как бы антитезу высшим классам, над ним лежащим, которые культурны в подробностях быта, во всем, что окружает их, но не в строе своем внутреннем и также не в существенных моментах жизни. Можно сказать, и к прискорбию уже давно, что рождается, думает, чувствует себя и других, и наконец умирает человек высших слоев, если не как животное, то несколько близко к этому; и только трудится он не только как человек, но и как человек усовершенствованный, искусно приподнятый на высоту. Напротив, грубый люд наш, правда, трудится почти как животное, но он думает, но он чувствует, но он умирает как христианин, т.е. как человек, стоящий на высшей, доступной степени просвещения.

И только знаки, в которых выражается это у него и у высших классов, различны; у последних та доля культурности, какая есть, имеет выражение отчетливое, может быть всегда рассказана, объяснена: это потому, что она лично каждым усвоена и, будучи усвоена из книг, книжно же и передается, выражается. Напротив, у простого народа культура выражается в ряде определенных готовностей, навыков, потребностей. Она почти не выражается в слове и не может быть выражена, потому что не лично усвоена, не через увещание или чтение, но передана бесчисленным рядом поколений, предшествующих каждому единичному поколению, теперь живущему. Но и Бруно, всходя на костер и готовясь осветить мир светом своей личности, быть может, не мог бы отчетливо доказать, почему он это делает, а не бежит и не скрывается. Но теорема Эвклида, отчетливо пересказанная, в смысле просвещения, для развития человеческой культуры была ли важнее, чем это неопределенное и смутное движение души, которое связало ему бегство и возвело его на костер. И так же точно, когда молча принимал и всегда готов принять мученичество за веру простолюдин наш, когда он угрюмо не дает лекарю разрезать тело своего соседа для выяснения нужных подробностей, — во всем этом, в бесчисленных подобных случаях, молча сопротивляясь или твердо требуя, он высоко и строго культурен в характере, в натуре, в глубоком напряжении своих страстей.

Отсюда ясна задача нашей элементарной школы: тот культ, который несет уже в себе темный люд, прояснить и распространить — вот в чем лежит ее смысл, ее особое, внутреннее оправдание. Мы не сказали — *укрепить* этот культ, потому что кровью своею народ наш не однажды уже запечатлел эту крепость. Но столь преданный, но так любящий, он никогда не поднимался на сколько-нибудь достаточную высоту в созерцании любимого им. Можно сказать, что, как нищий, он стоял в притворе храма и плакал, слыша едва доносящиеся до него отрывки

песнопений и возгласов; и боролся, и защищал храм, и проливал кровь за его стенами, чтобы не вошли и не осквернили его враги или чтобы криками и смятением они не прервали совершающееся в нем. Поистине эта верность достойна, чтобы наградиться, достоин он и увидеть, и понять таинственное в нем служение. Эту награду за верность и должна быть ему школа: около храма, около богослужения, около религии, она — лишь незначительная пристройка, внутренний притвор, вводящий темную и любящую душу в смысл того, что она безотчетно любила и за что страдала.

Такова задача школы культурной и исторической, в противоположность антикультурной и антиисторической, какая установлена была у нас людом, темным в смысле просвещения и в путях истории. Темны были в просвещении эти люди, когда, набрав немножко грамматики, немножко арифметики, прибавив к этому кой-что из географии и истории, думали, что с четырьмя своими книжками они внесут что-нибудь в душу, над изучением богатств которой трудятся первоклассные ученые; темны они были в путях истории, когда думали, что во всем разучившийся и ничему не научившийся наемник, придя в деревню с этими книжками, может начать в ней новое просвещение. Мимо их, этих наемников, этих книжек проходили, как и прежде, слепцы, распевая чудный стих "Об Алексее, Божием человеке", к которому прислушивался народ; все так же всходило для него солнце, зеленел лес, колосилась нива и непосредственно впитывалось поучение из этой лучезарной книги Божией, как и из другой, посланной в мир "грешные спасти"; и не могло этого поучения погасить слабое, гниущее зерно, праздно брошенное на землю мимо идущим человеком.

Собственно, что все это так — это давно уже и всеми понимается, кто хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь может понять. Но при верности основного взгляда на элементарную школу в подробностях и способах его применения может быть сделано много ошибок. Эти ошибки тотчас явятся при усилиях, при напряжении его провести, при страхе, что завтра не может быть сделано то, что не сделалось сегодня. Тогда сейчас пойдут бедственные программы, циркулирующие приказы, торопящиеся ревизоры и весь гам и сор административной техники, услышав который, ощутив вокруг непотребное, священник закроет Евангелие и народ выйдет из храма. Великая тайна всякого истинного учения состоит в том, что оно совершается лишь втайне; что, как и все сокровенное, глубокое, оно хоронится от всего, что не вытекает вот из этого слова, которое я говорю, и из этого внимания, которое для меня открыто. Есть силы естественные, есть они во всякой истории, при всякой культуре, которые нить истории, черту культуры доведут до конца,

куда нужно, если только действуют без вмешательства. Различать присутствие таких сил и удалять с пути их препятствия — есть собственно все, что может государство, по самой своей сущности чрезвычайно ограниченное в способностях созидания. Есть эти силы и для школы, это — силы церкви и всех, кто, слушая из-за ограды ее учение, более всего его любит. Нельзя доверять слепому вести зрячего, нужно иметь доверие, что зрячий различит пути и не останется на месте; не нужно к церкви приставлять стражей, чтобы она, почти два тысячелетия учительная, возрадившая в учении своем весь христианский мир, не упустила каких-нибудь подробностей, в которых одних могут что-нибудь понимать эти приставленники. Стоя вне школы и часто вне церкви по духу, будучи темны в смысле всякого просвещения, эти приставленники около церковного учения уподобились бы рачительным и недалеким слугам, которые в заботах, чтобы дом был натоплен, все время через открытую дверь следили бы за пылающим в нем огнем. Что огонь может временами меркнуть, что он может местами совсем погаснуть, — это несомненно; и там, где это случится, тотчас войдут в силу и в прежнее значение все те непосредственные созерцания, о которых мы сказали, что они всюду и всегда есть и что они высоко воспитательны. С этими одними созерцаниями народ наш вышел из-под крепостного права, и вышел таким, каким, к прискорбию, мы его уже не вводим в школу. Итак, излишне малодушие в заботах и эта дробная суетливость в величавом течении истории. Бесспорно, во многих местах и часто учение книжное будет пренебрежено; и не всегда по лености, чаще по недосугу и отсутствию умелости. Их устранить¹ — вот здесь и выступает задача государства, ему посильная, для него должная. Но даже и при этом пособия много будет не доделано, и нужно иметь силы перенести это; как переносилось же самим государством и обществом калечение души народной через школу, откуда был изгнан язык церкви, Псалтирь и все учительные книги Ветхого Завета². Именно калечения уже никогда и нигде не произойдет при

¹ Это может быть легко устроено через простое перемещение сумм, отпускаемых на содержание учительских семинарий и институтов, с их сборными программами "de omne re scibili" ["обо всем, что можно знать" (лат.)] — в семинарии и академии духовные на учреждение в них кафедр педагогики — это с одной стороны, и на увеличение штатов при сельских и городских церквях — с другой. Нужно не разбрасывать, не дробить государству свои силы, бросаясь во все стороны и нигде не добегая до цели; но, соединяя эти силы в немногих направлениях, доходить в них до конца определенного и осмысленного.

² Относительно сельских школ стоит только заглянуть в *Каталог книг для употребления в сельских школах*, изданный министерством нар. пр. в 1875 г. (вышло ли теперь, в 1881 г., новое издание — мне неизвестно, во всяком случае по школам оно не разошла-

передаче школы в ведение церкви, и если местами на ниве, ею засеваемой, останутся прогалины, местами же поднимутся и пышные произрастания. Но подымутся при условии полной свободы, при индивидуализме соотношений между учащим и учащимся. Невозможно, не следует устанавливать "от сих до сих" программы: не приподняв худое, она закроет рост доброму. Пусть неумелый учит наименьшему, не нужно ради того, чтобы искусственно вытянуть его плохую работу и сделать ее совсем дырявой, предписывать и даровитому только "среднее". Но раз в истории, в ее изгубе, уже сказалось усилие к просвещению, где можно и сколько может, — оно будет. Потому что то оживление, которое хотели бы торопливо предписывать, оно из глубин истории идет и уже, конечно, чувствуется всеми, кому хотя бы предписывать. Нужно довериться этому темному оживлению, нельзя над стражами поставить стражей и ожидать, что, пока они смотрят друг на друга и на них всех — со страхом пастухи, драгоценные овцы разбегутся и расхитятся.

В неуловимом складе языка, в там и здесь брошенном замечании, книга, по которой совершается учение, налагает неизгладимую печать на душу (не ум только) учащегося. Эту особенность может понять только художник слова или историк, она останется навсегда темной для всякого другого, и здесь лежит объяснение, почему просвещение, попав в несоответствующие руки, стало повсюду совершаться через ежегодно выделяемые вновь руководства, при полном забвении древних учительных книг. Чтобы не быть голословным, предложу сравнить следующие отрывки:

"Смертью соперников вражда не прекратилась. Борьбу продолжали их преемники: с одной стороны, брат Димитрия — Александр, с другой — брат Юрия — Иоанн Данилович Калита (т.е. мешок с деньгами). Александр получил от хана ярлык на великое княжение; но вскоре навлек на себя гнев по следующему случаю. В Тверь приехал из Орды посол Чолхан (или Щелкан, как его называл русский народ). Татары,

но). Следует заметить, что всякая книга, не входящая в этот каталог (распадающийся на списки книг, рекомендованных, одобренных и допущенных), безусловно запрещена. Поверит ли мне читатель, если я скажу ему, что в этом каталоге не значится ни Часослова, ни Псалтири, ни Ветхого Завета! *Новый Завет* "одобрен", но не "рекомендован"...

"Всякому, конечно, известно, что без Часослова и Псалтири сельская школа у нас немислима, что Ветхий Завет во всякой школе необходим. Тем не менее употребление этих книг в школах оказывается "безусловно запрещенным" со стороны министерства" (См.: "Сельская школа". Сборник статей С.А. Рачинского, с предисловием Н. Горбова. М., 1892). Эта *памятная страничка*, без сомнения имеющая войти в историю нашего просвещения, была прочитана мною на страницах "Руси", еще на студенческой скамье, и я тогда же (это было около 1-го марта) ужаснулся и изумился прочитанному.

составляющие его многочисленную свиту, по обыкновению, позволяли себе делать гражданам разные обиды и насилия. Тверитяне, подстрекаемые самим князем, подняли мятеж, напали на посольскую свиту, зажгли дом, в котором она оборонялась, и татары погибли в пламени. Калита ловко воспользовался гневом Узбека, чтобы унижить своего соперника; хан дал ему большое войско и поручил наказать мятежников. Тверское княжество подверглось сильному опустошению. Александр удалился в Псков; великокняжеский титул перешел к Иоанну Московскому" (Учебник русской истории: Курс старшего возраста. Составил Д. Иловайский. Издание двадцатое, стр. 83).

Событие, рассказанное здесь языком, которым составляются "мелкие известия" в газетах, скользко и легко проходит в память учащегося — что одно и требуется от учебника, не оставляя в душе его никакого впечатления, чего и не требуется по программе. Но вот событие, не имеющее никакого значения политического, и потому не имеющее когда-либо войти в какую-либо программу, но которое нашел нужным подобрать и поместить в свое "краткое описание" русской истории его неизвестный составитель XVIII века:

"О сем, яко не благослови Самодержцу Российскому Роману Владимирский епископ греческого закона воевати с христианы кроме благославных вины.

Лета от Рождества Христова 1205, Великий князь Роман, пристяжав себе самодержавие Российское, посла с дарами к епископу Владимирскому, прося благословения на зачатие войны противу короля Польского Лешка. Но епископ оный отрече, и не благослови его на сие дело, глаголя: "Яко не подобает благословляти христианом на христиан войны начинати, кроме благословных вины". По сем Великий князь и Самодержец Роман живот смертию премени военною и погребен бысть во Владимире Волынском честно" ("Синописис, или краткое описание от различных летописцев, о начале славянского народа". В пользу любителям истории пятым тиснением изданное. СПб., 1762, стр. 111—112).

Это впечатление воспитательно, и, кроме того, оно чрезвычайно полно в историческом отношении, т. е. о многом не упоминая, памятно говорит. Здесь нет так называемой "Куликовской битвы" — ее и не было, она выдумана в учебниках: есть соответствующий событию рассказ "О горьком и престрашном часе в нем же множество создания Божия смертную испи на брани чашу" (стр. 159 и след.). И, прочитав его, становится понятно, почему Карамзин, выучившись без программ по этим "Синописисам", забился на несколько лет в русскую историю; как, с другой стороны, понятно же становится, почему, приготовившись к программе по Иловайскому, читатели двадцати его изданий уже ни-

когда более не раскроют ни одной книги по русской истории. Непобедимо, без рассуждений, без доказательств здесь действует художественный и нравственный инстинкт, который и составил то маленькое "опущенное обстоятельство", которое не было и никогда не будет принято во внимание при составлении "планов" и выделке по ним "учебников".

Мы определили выше понятие "культуры" как нарастания в человеке чувств уважения, любви к чему-нибудь. Сводя к этому коренному понятию цели воспитания, мы можем определить учебник, как такую переработку всякого матерьяла, при которой от последнего отделяется и удаляется все культурное, развивающее любовь и уважение. Следующее краткое сравнение снова убедит в этом каждого.

"Митрополит Алексей, по словам предания, приобрел благоговение в Орде следующим образом. Тайдула, жена хана Чалибека, была больна глазами. "Мы слышали, — писал хан к великому князю, — что небо (?) ни в чем не отказывает молитвам главного попа вашего; да испросит он здоровье моей супруге". Алексей отправился в Орду и излечил ханшу. Вскоре потом свирепый Бардибек, умертвив отца и братьев, воцарился в Орде и начал грозить нашествием русским землям. По просьбе Иоанна II митрополит Алексей опять отправился в Орду и при помощи своей покровительницы Тайдулы, матери Бардибека, укротил злобу хана. Алексей, подобно своим предшественникам, выхлопотал от хана ярлык, которым подтверждались льготы русского духовенства, т. е. освобождение его имений от татарских даней и поборов" (Иловайский, там же, стр. 85).

Как всякий живо чувствует, это изложение факта совершенно не культурно. Здесь Алексей — только Алексей, не святитель и не чудотворец, а только два раза митрополит. Вот образец изложения строго культурного:

"Великий благоверный Князь Димитрий Иванович Московский, услышав, яко идет на него безбожный Царь татарский Мамай со многими силами, неуклонно яряся на веру Христову и народ христианский (ревную погибшему Батью, скверному прародителю своему) опечалился вельми. И встав, иде пред икону Христа, Спасителя миру, и пад на колена нача со слезами молитися: да простит милостивый Бог грехи его и избавит землю Российскую от безбожного Мамаея. По молитве же воздвигся, скоро посла по брата своего, князя Владимира, к Боровску, и по вся князи, боляре и воеводы. Князь же Владимир прииде в Москву вскоре; и видев Великий Князь Димитрий брата своего, извести ему скорбь свою от нахождения поганых. Князь же Владимир, соболезуя толикой скорби, отвеща Великому Князю, утешая его глаголя: "На

Господа возверзи печаль свою и Той ты препитает, нам же, Государю, лучше есть честную смерть подъяти, нежели срамотен живот видети". Тогда Князь Великий Димитрий, поем брата своего, поиде к преосвященному митрополиту Киприану, извести ему настоящую беду, яко безбожный царь Мамай идет на Россию. Митрополит же отвеща ему, глаголя: "Божим то попущением грех ради наших возста на ны нечестивый он царь; ты же, Государю, потщися прежде послати к нему дары, и тем гнев его укроти, негли смирится и не поидет земли нашае пустошити. Аще же того ради не смирится, то Господь сам, ими же весть судьбами, смирит его, яко *Господь гордым противится, смиренным же дает благодать*. Тако бо и св. Василий Великий сотвори иногда, послав дары законопреступнику Юлиану, хотящу град его раззорити, да утолится от ярости своя. Но егда отступник он не преста от погибельная ярости своя, абие сам Господь Бог на отмщение толикаго неблагодарствия, посла воина своего, святаго мученика Меркурия, да убьет гонителя невидимо, еже и событсся". Великий Князь Димитрий, повинуясь совету митрополитову, избранного и благоразумного от предстоящих своих, именем Захарию Тутчева, посла со многими дарами к Мамаю" ("Синописис", стр. 121—123).

Эти слова писал человек высококультурный, т.е. любящий Бога, сострадавший родной истории, чтущий князей своих и потому только различавший все лица; и все это невольно впитывается, усваивается читателю, насколько он не обделен природным умом и сердцем; как, наоборот, ничего не впитывается из ранее приведенной страницы учебника, по ней *не образуется* человек. Это-то *необразовательное, антикультурное* значение всякой учебной переработки и нужно держать в уме постоянно как при оценке текущих фактов, так и при мысли об их исправлении.

XI

В древних книгах, в большом и малом объеме ("Синописис" заключает в себе 224 стр., учебник г. Иловайского — 397 стр.), по всем, строго необходимым для крестьянского воспитания предметам, даны сведения в форме, не дисгармонирующей с содержанием. Этой дисгармонии нельзя вносить, не нарушая смысла в самом предмете, целесообразности в преподавании его, значения во всей школе. Итак, если от бедственной идеи учебных программ еще нельзя скоро освободиться по силе предрассудка, нужно, по крайней мере, отнять в них зло эгоистического самоволия: их нельзя абстрактно составлять и вызывать ими развратную литературу "руководств"; но, поработав над старыми книгами,

избрав из сокровищ воспитания, в них содержащегося, наилучшее — следует применительно к этому наилучшему, обнимая его, составить программы. Это, конечно, никогда не будет сделано (за недостатком сведений и по отсутствию вкуса) теми бескультурными руками, в которых находится пока народное просвещение; но это только возвращает нас к необходимости передать все дело народного воспитания в руки церкви. Она одна знающа, сведуща, верующа в культуру народную, зачатки которой положила и может же возрастить их до высоты.

Великая заслуга г. Рачинского заключается в том, что он имел силы довериться более своему художественному чувству в деле воспитания, нежели всей в нем текущей действительности, и на основании первого предпринять критику второй. Он непреодолимо ощутил то духовное обезображение, которому подвергается посредством начальной светской школы ребенок из семьи с древним церковным строем, и как простого дополнения и развития этого строя, как естественной элементарной школы для народа нашего, потребовал школы церковной. Высокое, европейское образование, каким обладал он уже ранее, и притом не имевшее ничего общего с Церковью, налегло на это требование всю свою тяжестью и придало ему вес, какого, конечно, не имели светские требования бюрократических сфер, опирающихся только на уважение к этому же образованию, но несколько издали питаемое, а не внутренне носимое. Но, сделав это главное дело, г. Рачинский, думается, недостаточно еще строг в проведении его подробностей; тип рисуемой ему школы не совершенно выдержан в своем единстве: в нем есть легкие дисгармонирующие черты.

В одном месте, касаясь отношения нашей новой литературы к сельской школе, он замечает, что все произведения в ней после Гоголя почему-то неусвоимы, непонятны для крестьянских детей¹; кажется, он

¹ "Сохраняю постоянные сношения с бывшими учениками моей школы. Они гостят в ней подолгу на Святках, проводят со мной целые дни перед праздниками. Имею случай много читать с ними, много говорить с ними о том, что они читают. Что же делать, если вся наша поддельная народная литература претит им, и мы должны обращаться к литературе настоящей, неподдельной? Если при этом оказывается, что Некрасов и Островский им в горло не лезут, а следят они с замиранием сердца за терзаниями Брута, за гибелью Корюлана? Если мильтоновский сатана им понятнее Павла Ивановича Чичикова? ("Потерянного рая" я не думал заводить, они сами притащили его в школу.) Если "Записки охотника", этот перл гоголевского периода, по прозрачной красоте формы принадлежащий пушкинскому, оставляет их равнодушными, а "Ундина" Жуковского с первых стихов овладевает ими? Если им легче проникнуть с Гомером в греческий Олимп, чем с Гоголем в быт петербургских чиновников... Но ничто не может сравниться с тем обаянием, которое производят творения Пушкина, начиная с его сказок и кончая "Борисом Годуновым". Когда я еще не приступал к занятиям в школе, я думал, что знаю Пушкина и умею его ценить, — я ошибался. Узнал я его только теперь. Этот светлый, реальный мир, который

хочет сказать, что они антипатичны им. И в то же время ими легко и радостно усваиваются произведения догоголевского периода с Пушкиным в центре, с "Ундиной" Жуковского, "Семейной хроникой" Аксакова (по духу она принадлежит, без сомнения, к пушкинскому циклу). Причина этой антипатии, конечно, лежит в душевном складе простого народа, чуждого озлобления, осуждения, которым дышит наша литература от Гоголя и до текущих дней. "Светлому, реальному" созерцанию этого народа, его "миру бодрой веры и трезвого смирения" гораздо более отвечает поэзия Пушкина, именно таковая по своему духу. Итак, гармонирующие и дисгармонирующие черты здесь ясны; но и Пушкин (разве за исключением очень немногoго в его произведениях) не будет ли в дисгармонии с духовным складом народа, раз от элементарных завитков он будет через церковную школу подниматься выше и выше в своем развитии? Дисгармония, не ощущаемая теперь, пока, не окажется ли в вершинах? И если да, если это возможно, — нужны ли залoги ее уже в элементах, при основании? Но если это — только еще сомнительно, то несомненно должны быть удалены из элементарной школы те "начатки мироведения", какие обычно сообщаются при начале курса географии (в средней школе на первом же уроке ее первого класса). Есть нечто развращающее в этом сообщении, и, делая его в течение десяти лет, пишущий настоящие строки чувствовал это всякий раз. Есть тут недостаток благоговейной памяти к трудам Коперника и Кеплера, есть страшное насилие над детским воображением, насильственное вталкивание в него сведения, для нас любопытного, но в нем ни на что не отвечающего, ни с чем не гармонирующего и, если вдуматься строже, ничего неправильного в его созерцании не поправляющего. Ведь не ошибается же едущий в поезде из Нижнего в Москву, думая и говоря, что он движется на запад, хотя, в смысле абсолютного движения, он с чрезвычайной быстротой мчится на восток. Именно это только правильное утверждение делает и простолудин, думая и говоря, что Земля неподвижна — не относительно созвездия Козерога или Сириуса, чего он не знает и о чем не говорит, а относительно его самого, поля, леса, города, этих плывущих облаков и тверди небесной, по которой они плывут. И так же точно говоря, как, что солнце восходит, он ничего другого не говорит, что оно становится ближе к зениту, выше по дуге, соединяющей этот зенит с горизонтом, — что правильно и не нуждается

меня окружает, мир бодрой веры и трезвого смирения, мир духовной жажды и здравого смысла — этот мир столь новый и как будто давно знакомый — это его мир с раннего детства, пленивший и манивший нас. Он его певец, он его пророк..." (С. А. Рачинский. "Сельская школа", стр. 52—53). Слова и наблюдения эти очень значащи.

в опровержениях. Итак, в его твердом созерцании все покоится, и никто не оценил еще важности этого покоя для устойчивости воображения, мысли — всего душевного строя. Механики и психологи говорят, что и все мы не могли бы сделать даже малейшего движения, если бы ежеминутно вместе с относительным движением представляли себе и абсолютное; и только при психически необходимой ошибке, при представлении в каждый момент всего, кроме себя, в покое, — можем двигаться. Но если для особых целей научного знания нам иногда необходимо *вспоминать* и об абсолютном движении, этого воспоминания незачем навязывать вне всяких целей и необходимости простолоюдину.

И вообще нужно строго различать, так сказать, категории, ряды знаний и не мешать их, навязывая, как засохшие цветы на молодое дерево, все без различия на юную, растущую душу. Обходимся же мы в своем созерцании без всякого нравственного центра, без единой абсолютной скрепы, и выносим этот хаос сцепленных и кружащихся "относительностей", хотя он не отвечает действительной и полной правде. Но мы предпочли правду для глаз своих, для ушей, для ощущения — правде своей совести, своей души; будем же благодарить Бога, что не все таковы, как мы, что, во многом ошибаясь глазами и ушами, есть люди, не ошибающиеся умом и сердцем. Будем хранить их особую и высокую правду, не мешая к ней нашей, относительной и низшей.

В той культуре, о которой говорим мы, все истины, все ценное — суть нравственного, идеального порядка; к этому же порядку должны принадлежать и все истины, сообщаемые юным душам этой культуры через школу. Их, этих истин, необозримое множество: эта культура не только необъятно богата, но она и возвышенна, утонченна, чрезвычайно благородна. Нам, в нашем представлении, школа рисуется здесь почти не отделенной от семьи: только слишком небольшое из этой культуры может быть сообщено детям, может быть усвоено ими; самые глубокие ее сокровища, самые ценные дары не усвоимы без опыта сердца, без испытаний, без углубления во "вся сладкая и горькая" жизни. И здесь выступает требование второй и не менее значащей пристройки к храму сверх школы, *церковного книгохранилища* — не для потребности клира, но для насыщения духовной жажды "мира". Это — уже почти ученое собрание памятников церковной и исторической жизни, углубление в которое — без участия школы, но при ее содружестве — возведет свободно каждый любознательный ум на такие ступени просвещения, на которых стояли лучшие представители старых поколений. Те фолианты, о которых мы упомянули ранее, что при сборных программах из всех культур на них можно только взглянуть,

— при строгом воспитании в единой культуре могут быть прочитаны, как его завершение, как в нее углубление¹.

И если все-таки в ком-нибудь пробудилось бы желание переступить за грани этой культуры, свобода выхода из нее, конечно, должна быть предоставлена каждому. Но в этом переходе не было бы и тени того насилия и бессознательной, какой-то звериной, хитрости, с которой через школу, через театр, через все впечатления из мира иной культуры мы уворовываем у народа его душу, как будто завистливые к ней с тех пор, как в нас самих ее осталось так мало. В конце концов, возведение человека, всех групп его, на степень сознательности и свободы — есть задача истории, и к ней же должна стремиться школа. Сознательность эта должна состоять в свободном окидывании умственным взором разных миров, в полном отчете себе, что именно оставляешь и чего ищешь, когда переходишь из одного в другой. Эта свобода возможна и для народа нашего, и первая ступень к ней — углубление в свой собственный мир, его живое ощущение и ясное понимание. И если, имея это последнее, он все-таки ощутит себя неудовлетворенным, перемена, которая произойдет в нем, будет плодом *ego* собственного усилия, а не усилия *над ним* другого.

Нам остается сказать еще немного слов о той второй половине жизни народной, о которой при самом начале мы заметили, что она первобытна: об экстенсивных формах труда и также быта. Но здесь мы входим в круг таких неуловимых и трудных соотношений, которые еще никогда и никем не были разобраны. Нам думается, что все в истории и в каждой ее фазе бывает соединено неразрывною связью, все закономерно в ней, и экстенсивность внешнего строя неотделима от интенсивности строя внутреннего. Так бывает всегда, и никогда мы не наблюдали, чтобы с чрезвычайным вниманием, устремленным на весь внешний обиход жизни, соединялось у кого-нибудь и нераздельное внимание к требованиям своей совести, прислушивание к внутренней жизни. И то, что справедливо относительно единичных лиц, мы думаем, справедливо и относительно широких масс. Только ценой потери внутренней культуры может быть приобретена культура внешняя, только перестав любить и понимать что-нибудь за пределами своего огорода, наш крестьянин начнет возделывать его, как немец или француз. Но от этого жадного выбирания из земли плодов ее, мы ду-

¹ Мне известен один случай, когда крестьянин (его дед и, кажется, родители были староверы) грамотный, но не прошедший даже и элементарной школы, знал в подробностях всю литературу русской истории и отдавал преимущества Соловьёву перед Карамзиным, которого не любил.

маем, он невольно перейдет к желанию как можно меньше делиться ими; из-за форм *интенсивного* труда нам видится форма *интенсивной*, неплодящей *семьи*. От нее уже один шаг до "*интенсивного человечества*", до тайного, невысказанного желания Мальтуса — об удалении лишних ртов человечества. Все в истории сцеплено одно с другим, и кто рубит дерево, не будет сидеть под его тенью. Итак, мы думаем, что достаточно, если одна половина христианского мира отдала дары своего первородства за чечевичную похлебку; у нас же пусть лучше останется мякинный хлеб и христианство. Ведь несомненно, что их именно сознательно и твердо избирает и желал бы закончить навеки этот вопрос народ наш. Не будем же опять лукаво подходить к нему, чтобы, оставив ему тленные вещи, которые и нам не нужны, украсть у него нетленное сокровище. Оставим ему его общину, холщовую самодельную рубаху, и дадим, чего он вправе требовать и мы не вправе отказать, три десятины на душу. А затем, сколько сами в силах, уже войдя в формы интенсивной культуры, заденем плугом и его землю и особенно как-нибудь оградим ее от всяких случайных невзгод. Кажется, хоть и не без исключений, но вообще мы склонны к этому; думается — потому именно, что чечевичная похлебка нам и самим не особенно нравится.

ХII

Человеку, так заблудившемуся в путях истории, так затрудненному, христианство, как мудрая и молчаливая дева, дает только светильник, ничего не говоря об опасностях и трудностях пути, какие его ожидают. Тот иной мир, к которому мы переходим, — мир точного знания, новой культуры — похож на болтливую, но забывчивую человека, который на вопрос заблудившегося о предстоящем пути точно и обстоятельно описывает окрестности, говорит, в каких направлениях и далеко ли лежат камни и рытвины, но затем оставляет его в темноте, полагаясь на его память.

Как бы то ни было, приняв, что путь одних освещен и тверд, мы должны принять и тот другой факт, что путь других темен и только обогащен сведениями. Из разнообразия этих сведений, как их коренной черты, и из необходимости им довериться, потому что больше нечего делать, должны исходить здесь и все попытки двинуться вперед.

Того ясного и твердого ответа, какой имеет для себя вопрос о типе элементарной школы, вовсе не имеет для себя вопрос о школе средней. Правда, он разрешен практически, но так, как задача о квадратуре круга решена учеными, населяющими Бедлам. Плоды, ею даваемые, не-

смотря на долгое питание горьким корнем, оказываются, к удивлению, также горьки. Их никто не хочет; государство, церковь, общество, наука, литература, наконец, сама школа с ее представителями, одинаково в страхе от ужасающей "интеллигенции", которая ничего не понимает, ни к чему не привязана, ничего не чит и, поедая все кругом, не думает о завтрашнем дне, когда ей самой придется умереть с голода.

Здесь решение может быть только фрагментарное; могут быть указаны некоторые направления, куда следует стремиться, от чего убежать. Но точные способы этого достигнуть, но ясная форма основного типа школ — вот что темно, как и все вопросы в том обществе, для которого существенным образом предназначается самый тип этой школы.

Нет в нем, в этой вершине, растущей в ином направлении, чем рос тысячелетний ствол, такой твердой цели существования, какая есть в низинах народных; нет окончательной убежденности, что "иное направление" будет всегда сохранено; как нет и уверенности, что оно возвратится к прежнему, потерянному направлению. Этот скептицизм, это "неведение путей" не может не отражаться и на выборе им типа своей школы, т.е. уже первого движения по которому-нибудь пути.

При подобных условиях, при этой темноте сознания в недрах, откуда исходят усилия к просвещению, — скорее всего, из идеи самого просвещения должно исходить определение типа школы. Когда немощна почва, должно помочь небо. Есть условия, есть элементы, при нарушении которых просвещение не есть уже просвещение — и не может быть желательно ни для кого, ни для каких людских масс, будут ли они верующими или скептически, верны заветам *определенной* истории или идут против них.

Неверны *всякой* истории люди не могут быть; и в конце концов понятие о культуре, какое развито было выше, обнимает собою все формы скептицизма. Как бы далеко последний ни простирался, он не может отвергать, что все-таки задачей просвещения может быть только выработка в подрастающих поколениях какого-нибудь культа, т.е. преданности, любви, верности — без определения, чему именно (здесь вступает в свою силу скептицизм); и что, следовательно, школа должна быть зиждательна в отношении этих чувств, а не разрушительна к ним, как это есть во всей Европе.

И тотчас, как признан за ней этот зиждательный характер, *условия образования этих сторон души становятся неизбежно определителями самого типа школы*. Впечатления должны быть удлинненными, по возможности менее прерываемыми; они должны быть гармоничны друг другу, т.е. идти от одной какой-нибудь исторической культуры, а не от

разных, развивавшихся по закону антагонизма; единичные предметы, от которых идут эти впечатления, должны быть воспитательны, т.е. носить на себе живые черты культуры, а не лишены их; наконец, самый способ передачи их должен по возможности согласоваться с наиболее яркими, сильными задатками в воспитываемом и с наиболее живыми, деятельными способностями воспитывающего, т.е. он должен быть индивидуален.

Хоть несколько, хоть очень медленно вытягивать школу по направлению к этим нормам ее — есть все, что может практическая деятельность. И здесь государство, по отсутствию в нем самом живых ключей образовательного характера, должно обратиться к их отысканию в других исторических силах. Семья, церковь, ученые, наконец, единичные личности с особым, ярким призванием к воспитанию — вот все, чем оно обладает, что более его сведуще в темном мире законов образования человеческой души, что *его собственных целей может достигнуть лучше*¹, нежели оно само при самом ярком отвлеченном их

¹ Никто не обращал на это внимания, но это факт любопытный, что политическая струйка, которая всегда так билась и бьется среди учеников средней школы, не находит в ней совершенно почвы для себя, раз она *руководится частным лицом*. Статистические разыскания, где следует и кому следует, могли бы открыть глаза на эту печальную для государства истину, я же приведу здесь ее объяснение. Насколько мне пришлось испытать и наблюдать (а мои наблюдения были очень близки и довольно обширны), биение струйки этой всегда восходит, как к своему первому источнику, к чисто ученическому раздражению против преподавателей или кого-нибудь из них. При отсутствии индивидуализма отношений между учениками и учителем, личность ученика при наблюдении всех должных форм, если и не оскорбляется, то как-то отвергается преподавателем, и притом в лучших чертах своих, что после горечи порождает раздражение. Это раздражение, обобщаясь и обезличиваясь, переходит с человека на учреждение и, *передвигаясь от последнего по цепям бюрократического механизма*, доходит до источника всех их — государства. В 13—14 лет ученик раздражен двумя-тремя учителями, в 15—16 раздражен заведением, которого они являются членами, в 17—19 в нем есть уже озлобленность против государства, которого один орган так дразнит, так мучит его ум и сердце. В частном учебном заведении, за отсутствием всех этих соединяющих звеньев, *за его изолированностью от государства*, всякое раздражение не может переступить за его стены, не обращается ни на что далее лежащее. Даже более: в случае чрезвычайных причин для такого раздражения (т. е. если учебное заведение очень дурно) невольно пробуждается мысль, что "все шло бы лучше, если бы было в руках государства, если бы последнее обуздывало частный произвол", т.е. возникает смутная, убогая, к нему привязанность, надежда на него. Но мы взяли прямо злоупотребление: при нормальном же положении частное учебное заведение всегда неизмеримо оживленнее внутри (индивидуализм отношений), нежели казенное заведение, всегда почти мертвенное внутри; и вся энергия индивидуальных сил, не сдавленная общностью форм, уходит на эту жизнь. Здесь государство не упоминается, об нем не думается; просто все обращены к ближайшим предметам своих занятий, игр, забав, т.е. именно тем и так, чем и как никогда невозможно принудить заниматься учеников в казенных учебных заведениях. Таким образом, в отношении политическом те и другие можно сравнить с отношением к како-

сознании, при самых напряженных усилиях достигнуть их.

Трудно представить себе, до какой степени все указанные силы, все эти элементы исторически растущего общества обессилели, стали скудны именно потому, что их главная функция давно уже отправляется не ими. Сосцы обсохли, истощены, потому что дитя отнято от них и нет к ним притока живительного молока. Семья, дети которой вдали от нее, апатично отвечают внешними лишь формами своей души на внешние же и общие требования им чуждых людей, становится безжизненна, пуста¹; она так же гложет в своей поэзии, как гложет в индивидуализме своем свежий мир, ею порожденный. Дети облагораживают семью; без них, давая им лишь помещение и стол, в старших членах своих она невольно, неуклонно обращается к грубым, внешним удовольствиям; она перестает быть семьей в истинном, христианском значении и становится лишь дружеским сожительством. Все обращены в ней лицом к предмету своих особых забот, ушли в свой отдельный мир и друг на друга лишь временно оглядываются, когда имеют в этом нужду. Быть может, заботы эти и поучительны; оне во всяком случае полезны и, что касается до детей, ежечасно обогащают их сведениями; но кто же оценил, кто отвергнул, найдя их меньшими, те непередаваемые, часто безмолвные и неизгладимые впечатления, которые проходят здесь между матерью и сыном, сестрой и братом, кто, вынеся как сор эти впечатления за дверь, сказал, что больше их значит хронология Пелопоннесской войны?

Здесь мы опять возвращаемся к принципу непосредственных созерцаний, которых цена забыта, которые во всех видах изгнаны и, будучи заменены впечатлениями книжными, породили ту тусклость ха-

му-нибудь эпидемическому заболеванию двух местностей, из которых одна обставлена бдительными докторами, но почва ее в высшей степени пропитана дурными миазмами, вода отравлена, питание несвеже; и доктора, не помогая ни в чем, только научно констатируют смертность. Другая же местность, правда, лишена докторов, не имеет медикаментов, но, будучи совершенно здорова по условиям, и не нуждается в них. *Хочешь ли сберечь юношество для государства, береги его дальше от государства* — это правило, конечно, не административной техники, но политической мудрости.

¹ Будучи еще студентом, мне приходилось часто бывать в одном редко благовоспитанном семействе; вставая из-за вечернего чая, хозяйка дома заметила мне однажды: "Вот и опять я останусь одна"; на мое недоумение она сказала: "Я только и имею радость видеть мужа и детей (студент и два гимназиста) во время обеда и чая, все остальное время дня я провожу одна". С тех пор я стал наблюдать за этой стороной нашей жизни: действительно, только малолетние, до 8-летнего возраста, составляют теперь деятельных и чувствуемых членов семьи, они подрастают — и родители остаются совершенно одни. Думается, что отвратительное развитие клубной жизни, желание старших куда-нибудь ехать, с кем-нибудь сесть за карты и пр., не без связи с этим видоизменением в характере семьи, какое произведено государственным обучением.

ракторов, тот недостаток волевой и нравственной энергии в подрастающих поколениях, на который все сетуют, источника же его не понимают.

Но мы говорим здесь не о питаемых, а об истощении и увядании великих питающих институтов в исторически развившемся обществе. Наряду с семьей, этому истощению подвергается и церковь, которая принимает и нарекает имя христианину, провожает его в землю, зовется им время от времени в нужде, но остается вдали от него в течение всей жизни потому в особенности, что не согрела и не осветила его детства и отрочества. Именно в этом возрасте, от 8 (время поступления в приготовительный класс) до 13 лет, он уже знает церковь только официально, когда ему на нее указывают и насколько указывают. У него нет своего, местного священника, который был бы также и священником его сестры и матери; которого он привык бы видеть у себя на дому с образом, служащим молебн или всенощную в памятные семейные дни. Мало-помалу семья, раздвоенная времяпровождением, имея разные приходы, не сливается тесно ни с одним и отвыкает от церкви. Эта отвыклость, со временем, переходит в простое ощущение неловкости при всяком входе священника в дом, — в неловкость от незнания, что и как ему сказать, нужно ли подойти под благословение и пр. Так образуется не верующее наше общество — сказать это, значило бы грубо ошибиться¹; но общество, страшно уединенное от своей церкви и, если не считать полузабытых книжек, вполне ее неведущее. В свою очередь церковь, оставленная высшим обществом, имея живую и постоянную связь лишь с мало обученным людом, становится робка, не уверена в своих действиях и хоть с болью, но там и здесь поступает для нее должным и ей должным².

¹ И в самом деле, если бы даже очень большие выгоды были соединены с *выходом* из своей церкви и принятием, напр., магометанства, без сомнения, русский образованный человек, всегда лишь кошунствовавший над своей церковью, *ни за что бы этого не сделал*; и ни за что, несмотря ни на какие предстоящие выгоды, не оставил бы своего ребенка некрещеным, хотя бы всю жизнь и над всеми таинствами только глумился. В речи, в словах русский человек гораздо хуже, чем он есть в сердце, в уме своем; и даже нередко он циник в словах только потому, что боится обнаружить свой внутренний идеализм. Пустым, бессодержательным — а только такой человек может быть *в самом ядре своем* безрелигиозен — русский народ никогда не был и *не будет* даже в ветвях своих, каковую является так называемое "образованное общество".

² Года три назад, если не ошибаюсь, харьковским городским головой составлен был умный проект преобразования нашего городского самоуправления, где как на *избирающую единицу* было указано на церковный приход. Ясно для всякого, что это есть единственно нормальное городское устройство, при котором "местные власти" будут властвовать не над населением и помимо его интересов, а *из* населения и *по* его нуждам. Никто не отозвался в печати на это предложение, кроме "Вестника Европы", отозвавшегося

Лишенные своих естественных и самых высоких обязанностей, которые для лучшего их исполнения приняты на себя другим институтом, семья и церковь непобедимо погружаются в те обязанности, какие им оставлены — внешние и матерьяльные. Формализм и грубость овладевают ими. Но было бы глубоким заблуждением думать, что эта грубость и этот формализм сколько-нибудь искупаются действительно лучшим исполнением взятых на себя обязанностей со стороны государства: в деле формы это, конечно, так; но со стороны содержания выполняются ли они сколько-нибудь — на это ответом служит отсутствие какого-либо культа к семье и к церкви во всей массе общества, прошедшего через государственную школу.

Таким образом, недостатки семьи и церкви суть факты, вытекшие от изъятия у них воспитания и обучения, а не предшествующие этому изъятию, порожденные им, а не его породившие.

Это тотчас дает указание на первую практическую обязанность, которая может и должна быть выполнена средней школой: на передачу той части воспитания, которая, войдя в ее ведение, носит характер элементарный, в руки семьи и церкви. Им, а не государственной школе, должен быть предоставлен, по крайней мере, отроческий возраст, от 8 до 12—13 лет. Его воспитание есть долг семьи, забота прихода; и нельзя, не развращая их, снимать с них этот долг.

Отказ от воспитания в этом раннем возрасте, при сохранении всех прочих условий и требований, тотчас привел бы к замене многочисленных, дурно обучающих и совсем не воспитывающих¹ младших классов средней школы множеством маленьких подготовительных школок с частной инициативой, близко стоящих к семье и всего лучше поручаемых руководству местного священника. Но здесь, соответственно совершенно особым требованиям средней школы, о которых будет

очень тревожно: так устроить управление, высказался он, значило бы отстранить от него евреев, которые такие же граждане, как и все, и также платят налоги. Таким образом, православная церковь в своих естественных, исторических правах руководить жизнью масс менее выражена и защищена в нашей прессе, нежели пришлое вмешательство в эту жизнь нехристианских элементов.

¹ А отсутствие воспитания в таком раннем возрасте почти равняется развращению. Как это известно всякому, годы от 9 до 13, проводимые в гимназии, суть годы первого ознакомления ребенка со всякими дурными навыками и часто — усвоения их. Огромная и разнородная толпа сверстников с целого города, куда мальчик или девочка попадают без всякого посредствующего перехода из тесного круга семьи или ближней околицы, в высшей степени этому способствует. Как общий закон воспитания можно бы установить правило, что *после семьи ребенок должен переходить в то, что наиболее походит на семью и близко к той, из которой он вышел.* Удовлетворяющим требованиям этим мы и считаем церковный приход.

сказано ниже, его роль была бы уже не самостоятельная и культурно-созидательная, как в церковной сельской школе, но подчиненная и пассивная¹. Его призвание к деятельности здесь не имеет другой задачи, кроме как удержание отрочества вблизи семьи и церкви.

Впрочем, не будучи культурно-созидательными по содержанию, по усваиваемым через них сведениям, эти маленькие школки будут культурны по методам усвоения: индивидуализм отношений, не столь топорливо сменяющиеся впечатления — это будет здесь само собою соблюдено. И если не будет достигнута однородность сведений, то лишь в зависимости от существующих требований собственно средней школы, к которой мы и переходим.

ХIII

Говоря об образовании, мы здесь не говорим о нем с точки зрения личного убеждения. Не идеал — каков бы должен быть человек, к чему бы он должен стремиться, руководит нами; но только мысль, как бы сделать, чтобы, стремясь ко всяким целям, будучи тем или другим в своем духовном образе, он был в чертах этого образа наиболее совершенен, в стремлении — наиболее благороден и силен.

Конечно, одну из всех культур мы предпочитаем остальным и дуемаем, что совпадаем в этом предпочтении с течением истории. Но знаем также, что такого предпочтения нет в образованном обществе Европы, что, выйдя из строгих черт какой-либо культуры, оно несет в недрах своих только разбитые осколки всех. Собрать сколько-нибудь эти осколки в целое, восстановить силу и красоту человека, в чем бы ни проявлялась она, — вот все, что побуждает нас писать эти строки.

Итак, мы должны исходить из того бесспорного факта, что единой культуры, единого, перед чем преклонился бы человек, — нет теперь. Есть три и совершенно разнородные, проникнутые антагонизмом культа, куда человек хотел бы нести в жертву свои духовные дары, куда он несет их, но спотыкаясь и растеривая почти все по дороге, едва доносит что-нибудь до цели: это — культ античной цивилизации, христианского спиритуализма; и точных, внешних познаний человека о себе и о природе.

Удерживаясь от личных предпочтений, мы должны сказать, что в

¹ Священник прихода есть естественный посредник между семьей и обширной городской школой, куда он приготавливает и сдает детей своих прихожан, вот наша простая мысль. При этом установлении посредствующего звена большая и официальная школа тотчас потеряла бы свой издали грозный смысл для множества темного люда, из которого часто и выходят даровитые натуры.

каждом из этих культов скрыто столько неизъяснимой красоты, человек в вековых усилиях выразить ясно и твердо свой образ достиг такого совершенства в его чертах, что каждый, кто любит его, уже заражен сомнением: каков же должен быть окончательный человеческий лик? Не может он благоговейно не преклониться перед каждым из этих трех, хотя они взаимно и отрицают друг друга: из этого отрицания в истории они возникли порознь. Дика, груба мысль, что нужно их смешать, и тогда выйдет лучшая красота: смешать выходящую из морской пены Афродиту, смеющимся взглядом влекущую за собою народы, с ликом "скорой Заступницы" сырых, гноящихся в нужде людей, — нет, с этой мыслью подходить к образованию и своими детскими, неумелыми ручонками его строить... *procul profanum vulgus*, не с такой душой братья за такое дело!

Итак, исходя из скептицизма, каким проникнут преходящий фазис нашей истории, для этого преходящего фазиса должна быть предоставлена свобода выразиться каждому из трех названных культов в типе школы, ему соответствующем. Без отрицания, без какого-либо антагонизма — потому что это недопустимо для школы — пусть каждый тип развивает, как бы уединясь в истории, свое исключительное, одностороннее, но и прекрасное утверждение; пусть она растит в воспитываемом поколении, до времени как бы скрывая от него существование "иных богов", поклонение хоть и не высшему, не истинному, но для него пока "единому ведомому" Богу; чтобы, укрепившись в любви, отдав свои силы на служение одному, ученик и на другое, что потом мог бы свободно избрать, перенес то же глубокое чувство, ту же нерастерянную способность цельной любви.

И это тотчас возвращает нас к требованию передать среднее воспитание (мало-помалу и осторожно) в руки людей частью с особым, ярким призванием к воспитанию, частью без такого призвания, но с великим интересом, любовью, культом к которой-нибудь из трех пережитых человечеством эпох. Мы понимаем и соглашаемся, что невозможно государству, уже православному, уже монархическому, создать питомник чистого культа древности; но, как и в православном и в монархическом государстве мог свободно жить и петь свои песни поэт-носитель этого культа, без какой-либо необходимости за каждой песнью перелагать псалом, — так точно, без нарушения каких-либо "ненарушимостей", другой носитель подобного культа, ученый, может, собрав вокруг себя учеников, избрав себе подготовляющих помощников, начать питать и растить в этих учениках этот культ, без того, чтобы гомеровская рапсодия заключалась страницей из катехизиса. Все, что неразрешимо теперь, что извращено до неузнаваемости требованиями

официального декорума, само собою разрешится и станет в норму, как только устранился этот декорум: в центре школы станет действительно знаток и любитель древности, а не искусник в тайнах канцелярских происков, как теперь почти повсюду, почти всегда; он не изберет себе помощники людей холодных к предмету, несведущих в нем, как посылаются таковые без выбора, без предварительной пробы теперь¹ на четвертьвековое мученичество и мучительство. И это ли одно: что удержит в школе неспособного, апатичного? Как не удержится в ней даровитый, ярко загоревшийся к науке? Какая душа не возрастет в полноту своих сил? В какую нераздвигающуюся душу будут с усилием надуть воздух, чтобы она тоже зачем-то, куда-то летела, когда ей может быть так хорошо на земле? Поистине, тот яркий и благородный

¹ Всего любопытнее, что официальный декорум грубо неискусен даже в том, что можно назвать административной техникой: в создании таких общих условий, норм, при которых индивидуальная деятельность была бы наилучшею. Все сетуют, от верха до низу, что нет искусных учителей в наших гимназиях, что именно в этом таится весь корень зла в них. Но что же сделано, чтобы они были? Или из сделанного, что этому способствует? Принимаются *лучшие кандидаты* университетов в уверенности, что они будут и наилучшими учителями в элементарном и среднем обучении. Печальное, грубое заблуждение, выросшее на почве администрации, которая все решает по дипломам, обо всем умозаключает по занумерованным бумагам. Какой диплом мог бы им представить Кант, который после многих лет педагогической деятельности с грустью записывает у себя в записной книжке: *"Никогда не прилагалось к обучению лучших правил, чем какие прилагал я, но никогда не было худшей и менее успешной в этом обучении практики, чем моя"*. Но, вне всяких мыслей об этом частном, поразительном примере, можно указать две психические черты, которые, в высшей степени способствуют *научности*, совершенно препятствуют педагогичности: это — быстрота ума, *стремительность соображения* и слишком живая *впечатлительность*. При этих дарах человек превосходит у себя, в ученом кабинете, и невозможен в классе: он будет вечно утормаживать учеников, давать им объяснения, к их возрасту непримененные, с медленностью "среднего соображения" несогласованные, — и вечно же будет раздражен этим средним соображением. Не лучшие, но именно более вялые питомцы университетов, тихие бегуны на всех поприщах и во всех задачах, делаются лучшими преподавателями, терпеливыми, методическими в объяснениях, истинно полезными и чтимыми от учеников. Напротив, сколько-нибудь научно-даровитый человек, с поджигающим огоньком внутри, с миром своих особых забот и вопросов, быть может, будучи кое для кого полезен, для массы учеников является несносным, бесполезным и, в конце концов, этою массою ненавидимым учителем. Образование при университетах курсов практической педагогики, восстановление, напр., при Московском столь славного некогда *Университетского благородного пансиона* и учреждение при других университетах подобных же учреждений, конечно, должно бы составить первую заботу нашего министерства народного просвещения. К сожалению, это самонужнейшее дело не могло бы нарастить никакого номера в сериях текущих дел, а это наращение, занумеровывание все новых неспособных учителей, все новых мало к чему пригодных гимназий, и рост, все рост статистических цифр обратились в какую-то кантовскую "вещь в себе", которая, лежа по ту сторону этого мира, имеет гораздо большее значение, нежели все вещи здешнего мира, чем эти преходящие "феномены", живые люди, и притом маленькие.

свет, который так прекрасно, так надолго осветил человечество в эпоху Возрождения, он стал бы снова возможен, он загорелся бы и на нашем севере, если бы только к возжению его были допущены зажигальщики по природе, а не призваны темные пауки, обреченные на одно, — чтобы, снуя туда и сюда, ткать пыльную паутину в неосвещенных углах.

Но благодать родящей политической мысли давно покинула народы Запада, и с ними нас, оставив на месте своем лишь мокрый и влажный след, все умерщвляющую плесень административной техники, невидящей, расслабленной, всему бессильной помешать и ничего не призванной передать. То, что достижимо было при легком и дальном зорком руководстве, что призвало бы на государство неисчислимые благословения и покрыло бы его немеркнувшей в истории славой, и не достигнуто, и вызывало бесчисленные сетования, и явилось в судьбе народов примером смешных и ложных потуг на невозможное рождение вследствие того только, что руководство заменено было недоверчивым деланием, и созерцание исторических далей — боязливым оглядыванием вокруг.

Так ли совершенно невозможна передача в частные руки средней школы? Уже мы имеем теперь примеры, что, основываемая и руководимая частными людьми, *но в форме предусмотренной для всех и, следовательно, безличной*, она приносит плоды, неизмеримо более доброкачественные, нежели та же школа, руководимая официальным лицом: в ней первой интерес к классическому миру возрос настолько, что стало возможно, например, сценическое воссоздание греческой трагедии. Ясно для всякого, что высокое развитие этого интереса возможно было только при условии, чтобы официальный, блюдуший мир закрыл глаза на некоторые недочеты по другим, с классическим миром ничего общего не имеющим, предметам. Нельзя ли еще увеличить это смежение глаз? Нельзя ли к передаче в частные руки вот этой определенной школы передать в них же и некоторую долю права переименовать то или иное в общей для всех, безличной форме, созданной для севера и юга, для Азии и Европы? И таким образом, мало-помалу, с великой бережливостью, смотря на все, как на пока еще временный опыт, выходить более и более из роли неумелого делателя, чтобы принять на себя более высокую и соответствующую задачу мудрого руководителя. Благодарение Богу, ученики Креймана, Поливанова, Гуревича не пошли на штурм Петропавловской крепости: они пошли, чтобы представить на сцене Софокла, приникли к Карамзину и Пушкину, полюбили, наконец, историю. Итак, опыт сделан, и его сладкий плод для всех сторон вкусен; что же мешает растить его далее, еще тучнее удобрять

для него почву, открывать ему простор и светлую лазурь неба? Ведь это же ничего не стоит? Не вмешиваясь руками, оставьте свой блюдуший взор сперва над тем, что лишь повторяет дело ваших рук, потом над легкими видоизменениями этого дела, и далее, далее, до тех пор, пока, видя, что растущее дерево есть дерево добра, а не зла, отведете сами этот взор на стороны более нужные и приложите сильные руки к задачам соответствующим.

Только при этом условии школа и станет источником культа; взрослые в ней поколения будут выходить на широкую арену жизни с любовью, с уважением к некоторому и, следовательно, со способностью любви и уважения ко всему. Исчезнет это несчастное "*общее образование*" — *ни в чем образование*, ибо в общей смеси, составленной из борющихся элементов, один поедает другого и им поедается сам. Правда, пустая душа носит клоки всех миров; но как бы ужаснулся, какой скорбью покрылся бы каждый мир; если бы он мог поверить, что когда-нибудь в дали веков в чьей-нибудь душе отразится так уродливо, так постыдно, с такими смешными и обезображенными чертами. Поистине поколения титанов завершились смешным поколением карликов, которые почему-то подумали, что станут даже больше всех их, если примут на свое маленькое тело тень от каждого из них. Но вот тени ложатся на них, тени от всех веков, от всех красот в истории, а они остаются так же гадки и малы, как были.

XIV

Воспитание в культе христианского спиритуализма есть и может быть предоставлено только церкви. Она одна в нем ведущая, она одна и до пролития крови своей в него верующая, тогда как все остальные в нашей смешанной, неопределенной цивилизации, даже при лучших условиях, суть только жаждущие, а не насыщенные этим культом. Это воспитание есть единственно историческое воспитание для народа нашего, самое древнее в нем, и на средних и высших своих ступенях идущее параллельно (и лишь дальше) с воспитанием элементарным, сельским (как оно станет не сегодня, завтра).

Удалить из него все, что, не вытекая из христианства и не подготавливая его в истории, развивалось из других источников и частью против него, — это одна сторона реформы, которая предстоит здесь; развить во всю полноту собственно христианское учение — все, что вытекает из него теоретически и что практически нужно для его укрепления в людях, — есть вторая сторона реформы, которая нужна для наших духовных училищ и семинарий. Удаление из их программы

безобразных приделок, какие явились в пору сближения с классической школой и собственного обезличения, укрепление древней их основы и развитие ее в полноту сил, — вот что предстоит здесь сделать. И, разумеется, сделано это может быть при ближайшем, теснейшем их слиянии с живым служением в недрах церкви. Семинария — это почти домашняя школа при епископе, он же и блюдет свою паству, и наставляет ее, и посылает для ее руководства своих помощников, которые готовятся при нем. Для этих целей не нужна физика, начатки космографии, тригонометрия и алгебра. Нужно погружение в дух и заветы Библии, еврейской Библии, знание Евангелия и проникновение им, вчитанность в великих отцов церкви, в ее древних, великих апостолов. Нужно, в возрасте пробуждения и роста душевных сил, безраздельное погружение в этот удивительный, чудный, святой мир; он же и основал и укрепил, и держит покров, который силится разорвать иные стихии, над высшим цветом истории, — европейскою культурой. Для служения этой культуре нет иного, более удобного поля, нет другого, столь же верного оружия, как амвон, как проповедь, как руководство совести и частной жизни мирян и призыв их, после согбенного труда над землей, прийти и разделить, и снова пережить восторг, которым жили апостолы, мученики и вся небесная и земная церковь, она же и целый мир, и вот эта малая молящаяся весь, луч немеркнущего и неимеющего померкнуть солнца. Нет более образующего, более воспитывающего средства, как это удивительное соприкосновение на час, на два, вот этого человека, на этом месте и в этот год с тем, что идет из-за двухтысячелетней дали, что есть центр в развитии всего человечества и обнимает далекие земли и неизвестные народы. Поистине, кто прослушал со вниманием и разумением литургию, сделал более для воздвигания своего ума и сердца, чем просидя год на школьной скамье или прочтя самую содержательную книгу. Просвещением, идущим отсюда, из раскрытого алтаря, курящегося фимиама, древних обрядов и чудных евангельских поучений, из непосредственного, безмолвного созерцания этой мудрости и красоты, объясняется великий характер нашего народа и великий ум его, который все видят, ему удивляются, источника же его не знают или его отрицают. Выше, говоря о сельской школе и думая об этом именно источнике просвещения, мы и высказали, что нет нужды быть нетерпеливым в сельском обучении, что одна и пять деревень без школы еще не значит — деревень без просвещения: если в ближнем селе есть храм и добрый пастырь, они просвещены им так, как без этого, без литургии, без всенощной, не были бы просвещены при десятке школ.

Итак, семинария имеет своей конечной целью образование хоро-

шего священника; к этой цели должно быть все применено в ней, ей одной, — отвечать подробности обучения, быт учеников, видимое и слышимое ими. Они должны быть всегда вокруг епископа, как его будущие сподвижники по спасению людей; должны быть близки ему, родственны и уже, как таковые, посылаться на заглазное ему сподвижничество.

В этом сподвижничестве ему нужны и пособники — младшие степени церковного клира, и подготовка юношества к ним открывает возможность для семинарий быть снисходительными к умственной слабости, которая слишком часто совмещается с чрезвычайной высотой сердца. Говоря о светской средней школе, мы не упомянули об одном ее великом зле: что, предъявляя требования лишь к уму, она вовсе не предъявляет их к нравственной стороне души. Так называемое "поведение", т.е. нарушение благоприличий в поступках и словах на глазах другого, — конечно, с той внутренней жизнью воли и чувства, которую мы называем нравственностью, не имеет ничего общего. Между тем человека, бедного собственно *логическими* дарами, не только нельзя назвать вообще *душевно* бедным: напротив, часто он бывает нравственно утонченно развит, деликатен, истинно добр и великодушен¹. Светская школа гонит таких учеников, т.е. признает их как бы лишёнными тех "общечеловеческих сторон", которые будто бы она призвана воспитывать; и актом изгнания она признает их вместе как бы негодными и к жизни, куда готовит "граждан". Но школе, положившей себе в основу Евангелие, нельзя не понимать, что именно эти-то люди и суть лучшие делатели на ниве Христовой, что без них жизнь была бы

¹ Это есть истинная боль видеть, в годы ли учения или потом учительства, как из наших гимназий порой изгоняются юноши (вовсе не обделенные и умственно), столь утонченно развитые в нравственном отношении, что по справедливости могли бы быть красотой всякого общества и в *христианской* школе были бы драгоценным, бережно хранимым сосудом Божиих даров. Учась, мне пришлось потерять и редко даровитых по уму товарищей; но в нравственном отношении между ними были такие, у которых — применяя известное изречение — пишущий строки эти недостойн был развязать и ремень у обуви. Тщательно взвешивая длинный ряд мне известных фактов и связывая их с общими условиями учения в нашей средней светской школе, я нередко приходил к заключению, что оканчивают в ней курс не самые способные, одаренные ученики, но именно менее способные, *во всем средние*, такие, которые ни живым, пылким сердцем не нарушат никогда резко установленного "поведения", ни в силу горячего увлечения какой-либо отраслью знания не отстанут, хотя бы на краткое время, в некоторых других отраслях. Именно пропуск в университет только этого рода юношества, конечно, во всех случаях удобного, но ни в каких особенно нужного, обесплодил и высшую нашу школу. Прежних малосведущих (однако же не во всем) голов, но чрезвычайно энергических в работе, чрезвычайно восприимчивых к слову и способных к оригинальности в мысли — теперь в аудиториях уже не встретишь (разве как редкий, *прокравшийся* туда, случай).

суха, черства, несносна; что именно в них искра Божия горит самым ярким и полным светом, и притом наиболее привлекательным для всех людей. Не гоня, не презирая этих сторон души, возмещая в глазах своих ими некоторый недостаток умственных, тесно логических даров, школа церковная тотчас становится нормой для всякого общества, живущего полною душой, а не только ее мозговой частью. И здесь, с этою мыслью невольно соединяется требование, чтобы наряду с подготовлением к деятельному служению церкви, она подготовляла и к покорному пребыванию в ней.

Должны быть открыты для мирян параллельные курсы с теми, какие проходят будущие священно — и церковнослужители, где то, что ими изучается, и только это одно, изучалось бы в степени очень ослабленной. Тот же самый душевный строй, устремление внимания к тем же предметам, научение достаточное, чтобы прибавить к сердечному слушанию литургии и слушание разумное, — вот все, что здесь удавалось бы каждому и к чему для даровитых прибавлялись бы и все сокровища христианской культуры. Нет сомнения, что для самых людных классов городского населения, для ремесленника, для мещанина, для именитого купца, с тарелкой собирающего подавание на церковь, для всех этих людей, столь неожиданно удивленных миром Фемистоклов и Лициниев, свечения моря и вертящейся Земли, *этот мир* евангельских притч и житий святых, чудной истории об Руси и поучений Иисуса сына Сирахова был бы и не удивителен, и глубоко родствен, и, — мы уверены в этом, — не менее культурен.

Таким образом, средняя классическая школа, как это и следует, осталась бы школою для классов, уже вышедших из культуры только христианской¹; эта же последняя осталась бы воспитательною для всех остальных классов населения. Именно это вполне отвечает историческому положению вещей; никого не выводя из установившегося строя, подобная школа лишь возвышала бы этот строй; ни на кого не действуя понуждением, оставляя всем свободу, она действовала бы на всех просветительно, давая каждому тот свет, какого он ищет, — свет истинный, не ложный ни в какой части, и только к разным душам обращенный не одними и теми же лучами.

Воспитание женское, сообразно установившемуся уже историческому течению, должно быть для городского населения также двояко:

¹ Т.е. для дворянства и бюрократии, без *искусственного* привлечения к ней (через "преимущества") других классов.

для массы оно должно быть церковное¹, для некоторых, т. е. также для дворянства и для бюрократии, — то особенное, несколько исключительное, несколько искусственное, но, во всяком случае, действительно образующее, какое дается нашими институтами. Эти последние, давая гораздо менее затверживать сведений, нежели сколько дают их так называемые женские гимназии, однако, глубоко культурны: они отвечают тому духу, тому психическому строю и практическим навыкам, какие сложились в золотую пору нашего дворянского быта — быта очень твердого, очень высокого, о котором мы можем судить по множеству художественных отражений в литературе, который мы все невольно любим уже в этих отражениях. Напротив, совершенно бескультурны вышеупомянутые гимназии — компилятивный подбор из элементов гимназий мужских, но не классических, училищ реальных, но без реальных приложений и, может быть, минувших военных гимназий, но без чего-либо воинственного и разве лишь с воинскою грубостью. Трудно сказать, чему в истории или какой потребности в жизни они соответствуют. Безыдейно они выучивают, конечно, — немного и плохо алгебре, без убеждения — катехизису, поверхностно — всем естественным наукам; но для чего они выучивают этому, что *в целом образуется от этого набора*, — это так же мало мог бы объяснить их изобретатель, как неумелый и не руководимый никакою целью чтец мог бы мало объяснить смысл и цель своего чтения.

XV

Выше, при указании трех культур, преемственно развившихся в истории на ветхой почве Европы, мы невольно заметили, упоминая о третьей, об ее грубости сравнительно с двумя предыдущими. Это сказали мы невольно, вдумываясь только в смысл ее особых интересов, влечений, и вовсе не думая о приложении ее к воспитанию. Теперь, переходя к этому последнему, мы почти удивлены, как смыслу этих высказанных слов, оправдывая его, отвечает именно это приложение.

И в самом деле, все наблюдатели, которые имели случай в разные

¹ К счастью, начало практическому осуществлению этого уже положено так называемыми епархиальными училищами — типом школы, неизмеримо более культурной, нежели наши городские женские гимназии; они несколько испорчены только сближением своим с этими последними, как и семинарии испорчены через сближение со светской школой — не потому, что она классическая, но потому, что она совершенно не выдержана в своем классическом строе. Из курса епархиальных училищ, как и из курса семинарий, должны быть удалены физика, космография, и, — я глубоко убежден в этом, — также геометрия и алгебра.

поры своей жизни одинаково сильно любить каждую из этих трех культур, и, следовательно, относятся беспристрастно ко всем им, — согласно высказывают взгляд, что впечатления, идущие из круга точных наук о внешней природе, несравненно менее воспитательны, нежели те, которые идут из античной древности или христианства. Образование реальное не воспитательно; будучи даваемо с отроческих лет и до поры возмужалости, оно, конечно, неизмеримо увеличивает количество содержащегося в душе, но замечательно, что оно почти не изменяет при этом самой души, не утончает ее требований, не возвышает ее стремлений, не делает ее более чуткой или отзывчивой при восприятии. Та печать грубости и внешности, о которой заметили мы, что она лежит на новой культуре, ложится непреодолимо и на всякую душу, которая в ней одной воспитывается.

Если мы спросим себя, где именно источник этого явления, то после краткого размышления найдем, что он лежит в характере каждого единичного впечатления, из этой культуры идущего. Анализ частного восприятия здесь, как и всюду в воспитании, тотчас обнаружит смысл целого, которое есть только сумма этих частных. И в самом деле, нет впечатления, которое, идя из древнего мира или из христианства, не было бы сложно: всегда оно есть не только *сведение*, но и некоторое сопровождающее его влияние, эстетическое или нравственное; и в силу отсутствия тесных границ у всего нравственного и у всякой красоты это влияние *неопределенно* разрастается в душе, в меру даров ее или вызывая собой целый мир отзвуков, или, напротив, будя лишь немногие, но всегда какие-нибудь. Если затем мы обратимся к впечатлениям из сферы новой культуры, мы, напротив, заметим, что все они просты: каждое из них есть только сведение, сообщает лишь факт и действует на одну сторону души — всегда на рассудок. И так как, действуя на него, оно лишь внедряется в него, как новое содержание, то даже рассудок — единственно деятельная сторона при реальном воспитании ужасающе подавляется в своих оригинальных, творческих зачатках. Напротив, эти зачатки нередко возбуждаются при восприятии впечатлений сложных: действуя в значительной степени на вкус или на чувство, эти впечатления оставляют ум незанятым, и, в силу природы своей, он становится невольным наблюдателем происходящих в душе нравственных или художественных волнений; а, наблюдая, он о них и судит — уже свободно, вне каких-нибудь целей, кроме чистой любознательности. Только быстрая прерываемость впечатлений, ставшая истинным несчастьем всякого теперь воспитания, убила эту незаметную и главную работу души, и классическое воспитание уже не возделывает ум так, как оно способно возделывать; без этой же прерванности мы без колебания

скажем, чтение 12 строк древнего поэта или прозаика, не говоря о влиянии собственно на сердце, и самый ум изоощряет более, нежели усвоение самой трудной теоремы геометрии.

Факты, передаваемые в кратком каком-нибудь отрывке из Тита Ливия, незначительны, и они незначаша для всякого, читающего этот отрывок; но в том ли дело, они ли составляют смысл строк? Нет. А то, что составляет этот смысл — красота чувства, так глубоко и неопределенно волнует душу, таким длинным впечатлением на нее ложится, каким не ляжет и не может лечь никакой тесно определенный, отчетливо ограниченный факт, напр., этот:

"Квадрат, построенный на гипотенузе прямоугольного треугольника, равняется сумме квадратов, построенных на его катетах"¹.

Мы чувствуем, повторяя в своем уме движение мысли Пифагора, открывшего эту теорему, как ум наш стеснен этою мыслью, как он не может двинуться куда-нибудь в сторону, и не только не может, но и прежде всего — не хочет. Здесь все определено и все страшно ограничено; и далее, в этом ограниченном поле лежит факт, правда ясный, быть может любопытный, но ничем, никакою своею стороною, не взаимодействующий с нашей душой. Если б его не было, если б мы его не узнали, ничего не изменилось бы для нас в природе и не изменились бы мы сами; напротив, разве мы остаемся теми же, разве природа та же для нас, когда, развернув Гомера, мы прочитываем у него эти два стиха:

"Половину добродетели отнимает широкоवेशающий Зевес у человека, когда его постигает день рабства".

Не вызывает ли это в нас длинной вереницы воспоминаний, частью постыдных и всегда горестных? Не пробуждает ли нашу мысль к исканию, к сравнению? Не склоняет ли наше сердце к жалости и ум к размышлению над судьбой народов, состояний, лиц? И между тем ведь это только предположение, здесь нет даже никакого факта, который обогатил бы наш ум новым сведением; но как, не обогащая нас содержанием, этот намек *развивает* нас!

Или вот страница, опять не сообщающая никакого значащего факта, но как она *образует нас*, как *воспитывает* к лучшему:

"Когда я возвратился в дом свой и отданы мне были Анна, жена моя, и Товия, сын мой, в праздник пятидесятницы, в святую седмицу седмиц, приготовлен у меня был хороший стол и я возлег есть. Увидевши много приготовленного, я сказал сыну моему: пойди и приведи,

¹ Эта теорема по своей структуре одинакова с каждою истиною из мира этих наук; поэтому для выяснения этой структуры безразлично, взять ли какую-нибудь истину физики или какую-нибудь теорему.

кого найдешь, бедного из братьев наших, который помнит Господа, а я подожду тебя". И пришел он и сказал: "Отец мой, один из племени нашего удушенный брошен на площади". Тогда я, прежде нежели стал есть, поспешно вышедши, убрал его в одно жилище до захода солнца. Возвратившись, совершил омовение и ел хлеб мой в скорби. И вспомнил я пророчество Амоса, как он сказал: *праздники ваши обратятся в скорбь, и все увеселения ваши — в плач*. И я плакал.

Когда же зашло солнце, я вышел и, ископав могилу, похоронил тело. Соседи насмехались надо мной и говорили: "Еще не боится он быть убитым за такое дело: спасался уже за него в бегстве, и вот опять погребает мертвых". В эту самую ночь, возвратившись после погребения и будучи нечистым, я лег спать за стеною двора, и лицо мое не было покрыто. И не заметил я, что на стене были воробьи. Когда глаза мои были открыты, воробьи испустили теплое на глаза мои, и сделались на глазах моих бельма. И ходил я к врачам; но они не помогли мне. Ахиахар, родственник, доставлял мне пропитание, доколе не отправился в Елимаиду; а потом жена моя, Анна, в женских отделениях, пряла шерсть и посылала богатым людям, которые давали ей плату и однажды в придачу дали козленка.

Когда принесли его и он начал бляеть, я спросил жену: "Откуда козленок этот? Не краденый ли? Отдай его, кому он принадлежит; ибо непозволительно есть краденое". Она же отвечала: "Это подарили мне сверх платы". Но я не верил ей и настаивал, чтобы отдала его, кому принадлежит, и разгневался на нее. А она в ответ сказала мне: "Где же милости твои и праведные дела? Вот как все они обнаружились на тебе".

Опечалившись, я заплакал и молился со скорбию, говоря: "Праведен Ты, Господи, и все дела Твои и все пути Твои — милость и истина, и судом истинным и правым судишь Ты вовек. Воспомяни меня и призри на меня; не наказывай меня за грехи мои и заблуждения мои и отцев моих, которыми они согрешили перед Тобою. Ибо они не послушали заповедей Твоих, и Ты предал нас на расхищение и пленение и смерть, и в притчу поношения перед всеми народами, между которыми мы рассеяны. И поистине многи и праведны суды Твои, делать со мной по грехам моим и грехам отцев моих, потому что не исполняли заповедей Твоих и не поступали по правде перед Тобою. Итак, твори со мною, что Тебе благоугодно: повели взять дух мой, чтобы я разрешился и обратился в землю: ибо мне лучше умереть, нежели жить, так как я слышу живые упреки и глубока скорбь во мне. Повели освободить меня от этой тяготы в обитель вечную, и не отврати лица Твоего от меня!". В тот самый день случилось и Сарре, дочери Рагуиловой, в Екбатанах Ми-

дийских, терпеть укоризны от служанок отца своего за то, что она была отдаваема семи мужам, но Асмодей, злой дух, умерщвлял их прежде, нежели они были с нею как с женою. Они говорили ей: "Разве тебе не совестно, что ты задушила мужей своих? Уже семерых ты имела, но не назвалась именем ни одного из них. Что нас бить за них? Они умерли, иди же и ты за ними, чтобы нам не видеть твоего сына или дочери во-век".

Услышав это, она впала в печаль, так что решилась было лишиться себя жизни, но подумала: "Я одна у отца моего; если сделаю это, бесчестие ему будет, и яведу старость его с печалию в преисподнюю". И стала она молиться у окна, и говорила: "Благословен Ты, Господи, Боже мой, и благословенно имя Твое святое и славное вовеки; да благословят Тебя все творения Твои вовек! И ныне к Тебе, Господи, обращаю очи мои и лицо мое; молю: возьми меня от земли сей и не дай мне слышать еще укоризны. Ты знаешь, Господи, что я чиста от всякого греха с мужем, и не обесчестила имени моего, ни имени отца моего в земле плена моего. Я едиnorodная у отца моего, и нет у него сына, который мог бы наследовать ему, ни брата близкого, ни сына братнего, которому я могла бы сберечь себя в жену: уже семеро погибли у меня. Для чего же мне жить? А если не угодно Тебе умертвить меня, то благоволи призреть на меня и помиловать меня, чтобы мне не слышать более укоризны".

И услышана была молитва обоих перед славою великого Бога, и послан был Рафаил исцелить обоих"¹.

Здесь нет никакого возбуждения в нас рефлексии, но, взамен этого, мы чувствуем душу свою как бы попавшую в вихрь особого строя чувств, к которому, конечно, мы способны, но он никогда самобытно не возникал в нас, и, повинувшись этому строю, душа наша невольно влечется к идеалам совершенно чистым, чрезвычайно возвышенным, дающим высшее удовлетворение нашей совести.

Это влияние — моральное; и как при чтении отрывков из Ливия и Гомера в нас возбуждается рефлексия, пробуждается знойное ощущение красоты, так и здесь, при чтении отрывка из Библии, нам становится понятно и близко ощущение святости. Во всех трех случаях всем существом своим (а не рассудком только) мы отзываемся на прекрасные звуки, идущие из далекой древности; мы на минуту чувствуем себя приподнятыми ими, и когда они замолкли, не можем уже опуститься так низко, как стояли ранее, или, опустившись, чувствуем неизменно горечь об этом.

¹ Книга Товита, гл. II и III.

Теперь, если, отвлекшись от этих волнующих звуков, мы снова обратимся к теореме о квадратах на гипотенузе и катетах прямоугольного треугольника, мы почувствуем, как голо знание, как оно обнажено от всяких сопровождающих его идей, желаний, чувств. И душа, возросшая лишь на усвоении подобных знаний, как бы ни была переполнена ими, остается в сущности не пробуждена в самых лучших глубоких своих частях. Даже умственно она остается неразвита; так тесны пути, по которым она здесь движется, так узок здесь путь суждения. Уму нигде почти не приходится творить и нигде также не приходится достигать до конца, предела, завершения. Он вечно на полудороге, с одною возможностью передвинуться вперед, но не осмотреться по сторонам и в особенности — не думать о чем-нибудь лучшем или окончательном. Отсюда сухость, частичность, какая-то неосмысленность созерцания во всяком уме, который возрос только на подобных впечатлениях, как это можно видеть из следующего рассуждения:

"Самым точным и наглядным показателем высоты цивилизации и энергии поступательного движения любой страны, любого общества является та степень быстроты и успешности, которую люди проявляют в сфере передвижения, т.е. в борьбе с расстояниями. Чем медленнее и чем с большим трудом совершается в данной стране движение по путям сообщения, тем и страна эта представляется более отсталою на пути прогресса. Пути сообщения — это артерии социального тела. Чем многочисленнее и совершеннее по своему устройству эти артерии, чем обильнее и быстрее проносящиеся по ним людские волны, тем и процесс "обмена вещества", "питания" в названном теле идет энергичнее, тем и "пульс" общественной жизни оказывается более полным и сильным, тем и жизнедеятельность общественного организма выше, тем и культура, и цивилизация, как высшие продукты этой жизнедеятельности, представляются более богатыми по своему содержанию. Ввиду всего этого быстроту движения по путям сообщения мы с полным правом можем брать за мерило прогресса.

Если мы, вооружившись этою меркою, сравним очень даже недалекое прошлое цивилизованных стран с настоящим, то увидим, что современное человечество или, по крайней мере, авангард его прогрессирует с очень большою быстротою. Наши деды, а пожалуй, даже и многие из отцов назвали бы (да и действительно называли) безумцем того, кто стал бы уверять их в том, что вполне возможна и легко достижима наша нынешняя быстрота передвижения. В настоящее время мы переносимся в наших обыкновенных железнодорожных поездах, в несколько часов или дней, на такие расстояния, для преодоления которых, лет пятьдесят тому назад, требовались целые недели. Теперь

поезд от Ливерпуля до Манчестера пролетает в 24 минуты, от Берлина до Гамбурга — в 3¹/₂ часа, от Парижа до Кале — в 4 часа и т.д. Быстрота, как видит читатель, огромная, но и она оказывается еще не предельною: максимальная быстрота экстренных поездов равна в Бельгии 100 километрам в час, во Франции — 120 км., в Англии — 125; что же касается до Северной Америки, то там поезда на некоторых линиях летают иногда даже еще быстрее.

Если мы примем в расчет то упорство, ту энергию, которые цивилизованный мир проявляет теперь в борьбе с расстояниями, а также и те поразительные успехи, которых он достиг в этой сфере на наших глазах, — то трудно даже и предугадать, на каком пределе скорости движения остановится человечество... Риск схода слишком стремительно несущегося поезда с рельс может быть устранен разными способами; так, между прочим, можно проложить рельсовый путь по трубчатому ходу, при котором сосакаивание вагона с рельсов станет физически невозможным. Считаю нелишним напомнить здесь читателю, что проекты транспортирования пассажиров и клади по трубам, в цилиндрических вагонах, возникают уже и теперь. Задача предохранения пассажиров от опасности задохнуться в поезде-молнии может быть разрешена также очень легко: стоит только герметически закрытый вагон снабдить, в достаточном количестве, сжатым или приведенным в жидкое состояние кислородом или воздухом, да обеспечить отток или очищение (химическим путем) испорченного дыханием воздуха, — и запертые в вагоне пассажиры не будут испытывать ни малейших неудобств от того, что поезд несется, чуть не в буквальном смысле слова, с быстротою молнии; мало того, они не будут замечать даже и самого движения"¹.

Можно подумать, что если бы найден был способ пересылать автора этого рассуждения по телеграфной проволоке, он ощущал бы себя совершенно счастливым, облетая шесть раз кругом Земли в течение не более как минуты.

Интересно сравнить с этим ползучим желанием, еще вчера выросшим и, кажется, наполняющим сегодня уже сердца всех, это глубоко человеческое желание, идущее из более чем двухтысячелетней дали:

Неизвестна судьба мертвых:

Они существуют, говорит один, — их нет, говорит другой.

Вот что хочу я знать, что открой мне,

Вот желание, которое я выбираю.

¹ "Русские Ведомости" за 1892 г.

Так говорит брамин в одной из ведийских легенд; ему отвечает Яма, бог смерти, к которому он обратился с этим вопросом:

Самые боги издревле не знают о том:
Темна эта тайна: ее трудно понять.
Другое желанье скажи, Начикетас,
Не настаивай на этом, освободи меня от слова.

Начикетас

Для самих богов это скрыто,
И трудно понять, говоришь ты, о, смерть!
Один ты мне можешь это открыть, —
И только это желание я выбираю.

Бог смерти

Выбирай долголетних детей и внуков,
Деньги, стада, слонов и коней;
Выбирай на земле огромное царство;
Пусть будет долга жизнь твоя, как ты желаешь!
Если заменишь желание свое, выбирай
Хоть богатство, хоть долгую жизнь;
Цари над землей, Начикетас.
Всех наслаждений участником будь!
Все, что смертным с трудом достается,
Всякую радость возьми, к которой сердце стремится, —
Только не спрашивай, Начикетас, о смерти!

Начикетас

Все это пригодно лишь ненадолго:
Сила чувств у людей исчезает,
В жизни все скоро проходит.
Песни и танцы, кони, стадо, все это — твое.
Людам богатство не дает довольства:
Что для нас деньги, когда мы увидим тебя?
Все мы живем, пока лишь ты велишь, —
Потому выбираю это одно желанье:
О чем, полные сомненья, думают люди,
Об этом скажи мне — о смерти, о будущем царстве.

Желанье, что в скрытую глубь проникает,
Я выбираю его одно.

(Упанишады)

Таким образом, руководимые ли высшим светом, или роаясь только в недрах собственного существа, люди всегда, от самых древних времен, останавливались мыслью своею над высшими вопросами, видели удовлетворение для себя в успокоении совести. Нужно было трехвекое устремление внимания наружу, кругом себя, на эти разбросанные на пути камни, растущие окрест деревья, на плывущие по небу облака, чтобы так окончательно, так полно забыть о себе самом, о своих задачах и целях в мире. Но конечно, если уже несчастно суждено было совершиться, если бессознательно, шаг за шагом, как бы снимая с себя исторические одеяния, человек пал до таких низин желанья и мысли — сознательно воспитывать его в этих низинах было бы и безумно, и преступно.

Итак, мы оставим намерение, с каким начали это рассуждение: выяснить особые задачи так называемого "реального образования". Нет такого образования, и если в обществе есть с ранних лет обучение реальным ли навыкам, или реальным предметам, пусть это существует, если нужно, — но не называется образованием.

XVI

Мы переходим к высшим формам просвещения, к тем, в которых окончательно формируется человек, где он созревает уже для деятельности в духе, в смысле своей культуры, для истинной пользы своего народа и прежде, нежели для этого, — для высшего удовлетворения своей души.

Духовные академии и университеты, одни соответствуя древней христианской основе, и другие — позднему пышному наряду на ней, выполняют или могут при лучших условиях выполнить эту особую роль. Эти учреждения справедливо разделены в православных и католических землях, где ими выражаемые формы просвещения были исторически в антагонизме; и справедливо же они соединены в протестантских странах (богословские факультеты при университетах), где религиозное движение выросло об руку с гуманизмом, вместе с ним восстав и разрушив древний церковный строй.

Об академиях мы не можем сказать ничего сверх того, что уже заметили о среднем церковном образовании: что даваемое в них про-

свещение должно быть строго выдержано в своем типе, т.е. из него должны быть удалены все безобразящие, обесмысливающие его позднейшие приделки. Странно видеть священника, который, хорошо объясняя сатиры Кантемира, не умеет прочесть двух-трех строк древнего еврейского текста; и постыдно видеть, что, встретясь с раскольничьим начетчиком, он, конечно, может объяснить ему, отчего и как происходит гроза, когда и кем был изобретен паровоз, но в сфере своей собственно, т.е. в знании Писания и отеческих книг, оказывается перед ним совершенным невеждою. Еще более постыдно видеть, что чем выше получаемое в наших церковных школах образование, тем ниже уровень чистой и горячей веры в их питомцах; так что наихудшие в этом отношении (а следовательно, и во всех) священники суть те, которые прошли академический курс. Думается, сверх вредного влияния упомянутых приделок, вторая причина этого кроется в непреодолимом влиянии непосредственных созерцаний. Наши академии, за исключением Московской, расположены в самых шумных центрах теперешней цивилизации, которая всем своим видом, соблазнами и обаянием завтра разрушает то, что было сделано вчера за глухими академическими стенами. Нет пользы в образовании — таком, но при таких условиях. И академии (как думается, и семинарии даже, и женские епархиальные училища) должны бы быть перенесены из шумных центров за стены уединенных, славных не одними историческими воспоминаниями, но и строгостью теперешней жизни, монастырей. Не библиотеку Соловецкого монастыря следовало передавать в Казанскую академию, не говоря уже о нарушении права, об отнятии лучшего сокровища у нашей древней исторической святыни. Следовало бы скорее перенести Казанскую академию в Соловецкий монастырь, как Петербургскую — в Кирилло-Белозерский или Волоколамский, и Московскую — несколько далее, чем теперь, не в монастырь, столь обильно посещаемый, столь тревожимый визгом ничего о молитвах не знающего паровоза.

В сущности, при естественном развитии всех дел, в сфере ли церкви, в жизни ли народной, так и произошло бы: из силы веры, из горячего желания пробуждать ее и в других, возникло бы *там, где эта вера наиболее пламенно и чисто горит*, углубление в познание ее истин, т.е. духовное учение. Но, конечно, это не могло войти в соображение людей, которые, относясь к вере извне и извне желая оживить ее, основали для этого школы там, где удобнее было бы наблюдать за ними, не так монотонно проходила бы жизнь, и все вообще, *но кроме веры*, деятельнее существует и успешнее достигается.

Что касается университетов, то это суть высшие продукты, в каких новая культура (и античная, насколько она стала предметом усвоения и

передачи) выразила свои самые идеальные, чистые черты; *познание* мы считаем главною и характерною особенностью новых веков, высшею их задачею, которую предопределил своим мышлением Декарт и указал Бэкон, — как религиозное просветление считаем задачей Средних веков, и выпуклое, внешнее выражение красоты и затем сцепление мира правом — задачей античного мира. И в самом деле, только еще политическая жизнь или, наконец, поэзия могли бы счесться центральным явлением новой истории; но что же можно сказать о новых государствах в сравнении с Римом в смысле красоты, в смысле мощи, в смысле *окончательного на земле*, чем пытался и уже почти стал Рим и чем никогда не задумывали, не смели думать сделаться его слабые и тусклые повторения в истории. Воля не есть в человеке наивысшее, не ею достигнет он неба — таков был смысл великого катаклизма, которым закончился Рим и который предостерегает другие народы от вступления на пути его. Далее, если мы перейдем к поэзии, то, понимая ее лишь как часть проявлений прекрасного, будем поражены тем, как в позднейшей фазе европейской истории это прекрасное выражено узко, имея лишь одну для себя форму — поэзию. Она оголена, ее не сопровождает ни сколько-нибудь ей равная скульптура, ни ее достойное зодчество; только музыка достигла в эти поздние века несравненного развития, но ведь это — самое философское из искусств, ведь в смысле выражения красоты — это вовсе не то уже, что ясная в чертах своих статуя, неопределенно волнующий и сам неподвижный храм, вечно опять и опять припоминаемая картина. Собственно красивость, как что-то непреодолимо притягательное для созерцания, уже заменена другим чем-то в музыке; и замечательно, как эта же красивость также заменена и в новой поэзии, более содержательной и глубокой, нежели поэзия античная. Но, будучи такова, она несомненно менее прекрасна, чем последняя, не так мерна, не так влечет к себе именно созерцание наше, и это одно здесь значаще. Она содержательнее, она глубже, потому что она *осложнена* мыслью; собственный, родной мир этой мысли есть, конечно, философия и наука. В новом мире, выступив за пределы свои, эта мысль покорила себе искусство, удалив от человека пластические выражения и приблизив музыку, сделав для него невыразимо привлекательными такие произведения, как "Гамлет", как "Манфред", как "Фауст", в античном мире только бы смешные; и далее, покорила себе и религию, подчинив ее своей критике, что и составляет смысл протестантизма, этого перехода веры от мистических основ на почву рационализма¹.

¹ Разумеется, Лютер не думал об этом, но очень скоро после него собственно лютеранская церковь, как ветвь протестантизма, стала уже рационалистической и пиетиче-

Итак, если одна мысль в новой истории не только развивается в меру естественных задатков своих, но и ширится, и покоряет, и переименовывает по своему подобию все остальные задатки в духовном существе человека, и он остается бледен в желаниях своих, тускл в красоте, не тверд, изменчив в вере, — то не ясно ли, что собственное ее царство, т.е. философия и наука, и есть истинный центр переживаемого фазиса истории. Познанием своим, как прежде волею, как потом верой и самоотречением, человек в третий раз пытается достигнуть неизъяснимых высот, к которым доступ ему закрыт ли навсегда, или возможен — об этом не нам и не теперь судить.

Universitas omnium litterarum — "круг всех наук" и есть видимое, осязательное средоточие этих идеальных стремлений, этих новых порывов человеческого духа ввысь. Из этой, и никакой другой идеи, должна вытекать их организация, отношение к ним окружающего и их к окружающему. Безусловная несвязанность мысли и ее выражения должна быть допущена здесь — ведь без этого тотчас нарушается самая идея познания; но конечно, к этому высокому праву могут быть допущены только те, которые подходили бы к нему со священным трепетом долга. Итак, доступ туда не может быть свободен для всякого, и он не может стать предметом передачи от учителя ученику своему — ведь будет выбран лишь восприимчивый и покорный, а не деятельный и не строптивый в мысли, какой, между тем, и нужен; и не может этот доступ открываться самим университетом: ибо никогда посредственными умами (а в разные эпохи именно таков будет состав учащихся) не будет допущен в среду свою даровитый, который мог бы их затмить своею силою или оскорбить смелостью. Древний пример Платона, не допустившего Аристотеля до преемства себя в Академии и передавшего заведывание ею неспособному Спевзиппу, мог бы послужить предостерегающим уроком для всех, кто вздумал бы на этих принципах основать процветание наук.

Но кому же, если не учителю, если не самому университету, должно быть предоставлено право возводить на его кафедру? Мы думаем — совокупности университетов, но так, чтобы избираемый в каждом отдельном случае был избираем не из корпорации, его избирающей, но из

ской; что же касается до других, ему современных реформаторов, то Меланхтон был только ученый без каких-либо мистических порывов, Цвингли был рационалистом и в основаниях, и в выводах, а Кальвин в знаменитом труде своем "Institutio Christiana" <"Наставление в христианской вере"> не рационалистичен только в первых посылках, и тем строже рационален во всей последующей конструкции своего учения. Пиетизм можно рассматривать как протест сердца против насильственного вторжения мысли в область веры, и поэтому исторически, как и логически, он неотделим от рационализма.

других родственников: в противном случае на видную открывающуюся кафедру был бы передаваем университетами наименее им нужный или почему-либо неудобный, вообще в каком-нибудь отношении худший. Это же право, без всякого ущерба для университета и его достоинства, могло бы принадлежать пожизненным их покровителям, но непременно — близким к ним. Как общее процветание науки не может не быть священной для *совокупности* людей, над нею трудящихся: так процветание *каждого* университета не может не стать предметом ревнивой заботливости его особого покровителя, если он только будет пожизнен, если всякие другие заботы и опасения будут тщательно удалены от него. Мы думаем, назначение от государства подобных покровителей наилучшим образом могло бы обеспечить университеты от уклонения в сторону с путей своих, — будет ли то мелкая, закрытая от всех, борьба страстей и интересов, или явное склонение внимания своего в сторону масс и духа времени, или, наконец, косность и застой в идеях. Впрочем, истинно государственная мудрость состоит в том, чтобы производить опыты ранее, чем полагаться на теории, и в данном случае наиболее рассудительным была бы индивидуализация условий университетской жизни, т.е. применение к отдельным из них порознь всех вышеуказанных способов замещения кафедр, чтобы после долгого (векового) опыта остановиться на каком-нибудь одном (если только это непременно нужно).

Далее, так как культ науки и философии, как и культ искусства или религии, не может быть сосредоточен исключительно где-либо, но бывает разлит в целом обществе, то следует развитие университетов поставить в зависимость от усилий самого общества: мы разумеем здесь основание новых кафедр. Ни в чем так не выражается недостаточность государственных забот об образовании, как в недостатке представительства в университетах, напр. в наших, множества отраслей знания, уже давно, уже деятельно и обширно разрабатываемых на Западе. Достаточно сказать, что у нас нет специальных кафедр греческой истории и истории римской, что (по крайней мере, недавно), пройдя так называемый историко-филологический факультет, можно было, однако, не выслушать там ни одного слова о греческой философии, об истории римской и греческой литератур, о греческом искусстве, о грамматике языка, на котором говоришь, о родной литературе в той поре ее развития, когда она только и стала интересна, — наконец, не услышать даже имен конфуцианства, брамаизма, буддизма, ничего не узнать о германской философии после Лейбница, — чтобы понять, до какой степени знания, там сообщаемые, как они ни прекрасны и ни занимательны в известных рамках, однако по самым размерам этих рамок —

узки и обрывочны. Недавно у нас совершена была реформа университетов: вековое название четырех курсов заменено названием восьми полукурсов — что, наконец, походит на Германию; но чтобы дать в наших университетах и место германскому разветвлению знаний — это, как уже нечто существенное и действительно полезное, было, как и всегда почти, при всех наших реформах, забыто инициаторами преобразования имен и форм.

Только сами университеты могут вовремя указать, чего недостает им, т. е. какие вновь возникающие дисциплины требуют учреждения новых кафедр; но, мы думаем, изыскание средств на их содержание должно быть предоставлено частной и общественной инициативе; достаточно, если государство оснует лишь существеннейшие, тесно необходимые кафедры и укажет, что дополнение их до богатства, до роскоши принадлежит свободной любви и уважению к науке, насколько они выросли в обществе.

Две функции, сверх главной и понятной, т. е. преподавания, должны бы, казалось, быть предоставлены высшим ученым учреждениям в государстве: это — надзор за печатью и надзор за средним, подготовляющим образованием. Печать столь явно, столь очевидно несет в себе с добром и зло, бросает в общество быстро растущие семена и того и другого, что не может подлежать сомнению необходимость наряду с бережным отношением к первым — затаптывать до восхода вторые. Этому разделению едва ли могут подлежать книги; даже в том случае, если книга имеет мало отношения к истине и ее исканию, если она стремится повлиять только на чувства, даже на дурные страсти, она все-таки есть плод индивидуальных усилий, в ней все-таки видно, что какое-то лицо трудилось над известными мыслями или подобием мыслей, все-таки обдумывая их, быть может колеблясь, сомневаясь. Словом, книга, какова бы она ни была, есть все-таки плод внутренней душевной работы, над которым следует задуматься прежде, нежели что-либо решить относительно его; почти то же следует сказать о крупной периодической печати, и, по крайней мере, у нас эта печать, от архаических "Ежемесячных Сочинений", от изданий Новикова и Карамзина и до нашего времени, оказала столь несомненные, столь великие услуги умственному и художественному воспитанию общества, что, каково бы ни было отношение к ней в других странах, у нас она должна быть только оберегаема, только хранима. Но нельзя этого сказать о прессе ежедневной — этом ежедневном брызганье слюной и заикающемся бормотанье, которое по непреодолимому предрассудку все почему-то называют тоже литературой. Но это требует и стоит более подробного обсуждения...

Нужна защита для могил, нужно охранение для зиждательного труда истории; нельзя, появившись на земле лишь на мгновение, думать, что на это мгновение земля принадлежит нам и мы можем на ней сделать, что хотим. Мы можем лишь *продолжить* на ней то, что делано ранее, прибавить что-нибудь свое, но разрушить сделанное — на это у нас нет права, и в ком есть совесть, — почувствует, что этого права у живущих никогда и не будет: оно унесено в могилу прежними поколениями, которые оставили нам лишь право на созерцание. Великий художник наш и провидец в тоскливую минуту своей жизни сказал, что, быть может, наступит момент, когда завистливый и бездарный раб (а им может быть и художник), взобравшись к лику Сикстинской Мадонны, сорвет и разрежет его на куски; но чтобы не наступила физическая возможность этого, нужно, чтобы понята была его правовая невозможность: не только одинокий раб, при торжествующих криках вот *этой* толпы подобных же рабов, но и вотум всех народов, населяющих теперь землю, не может ничего решить о Сикстинской Мадонне, как не для них нарисованной. Они могут только нарисовать новую Мадонну, но разрушить уже нарисованную — не могут: она для их внуков, для их десятого поколения, мнения которого еще никто не знает и его предрешать не может, нарисована столько же, как и для них. Итак, есть вещи, существование которых вечно, право на которые распределено на все поколения людей, насколько им суждено чередоваться на земле. Нельзя требовать, чтобы понимание этого права было усвоено каждым, и в особенности людьми, которые никогда ничего не созидали, не знают трудностей этого созидания и также радостей созерцания чужого возвышенного труда. Но и можно, и следует требовать, чтобы в целом своем каждое поколение понимало свой долг перед прошлым, и чем обильнее в нем уродливые вырождения, тем тверже оно встало бы перед ними за святыню прошлого. Никто не допускает гиены до могил — хотя бы гиена была действительно голодна, хотя бы могилы уже действительно ничего не чувствовали; но есть родственность между нами и этими могилами, и мы ляжем со временем рядом с ними, и в минуту, когда будем ложиться, нам дорога была бы уверенность, что ее не раскопают и не осквернят; но эту уверенность нужно купить — верностью своею тому, что жило. По крайней мере, кошунства над прошлым, вандальского разрушения уже созданного вправе не допустить всякое поколение, и из этого права вытекает то *veto*, о котором мы сказали, что оно должно быть налагаемо время от времени на прессу, насколько, живя исключительно дневными интересами, она более, чем все другое, нежели каждый отдельный человек, имеет тенденцию терять память о прошлом.

Заметим, что предоставление этого veto учреждениям с очень временными задачами, с минутными тревогами, опасениями, нуждами было повсюду в Европе грубым политическим заблуждением; это к тому же было и фактом, за которым вообще не лежало никакого права: нет вечных вещей, нет святынь, нет неприкосновенного, с чем какими-либо нитями были бы связаны эти временные учреждения, слепые рабыни нужд своего дня. Нет ничего, что так мало почувствовало бы свой долг защитить прошлое, что так слабо знало бы это прошлое, так неспособно было бы понять его, как этот вечно преобразующийся и всему угодливый протей, идущий вперед, без целей, без воспоминаний, по воле того лишь, кто на нем сидит. И так как у сидящего нет тысячи глаз, чтобы все видеть, а каждая святыня единична и единичным же актом разрушается, то ясно, что слепой везущий конь способен не сохранить, но затоптать их все. Итак, не ему, сильному, но не зоркому, должно быть отдано это veto. Оно по всей справедливости должно бы принадлежать самому общему, самому духовному и всеми сторонами равно признаваемому органу, какой, мы думаем, раньше или позже, будет создан в этих целях новою цивилизацией.

Сила не всегда есть и уменье, и возница, собравший все вожжи в руки, еще не значит успешно имеющий проехать через все трудности пути: искусный знает, что в темноте, близ пропасти, нужно предоставить коням идти свободно, что, руководимые каким-то безотчетным инстинктом, они проходят безопасно там, где погубит малейшее движение правящей руки. Разница между администрацией и политикой и состоит в том, что первая, заботясь только о силе, все лишь собирает вожжи и в заботах о них не смотрит, не имеет времени смотреть на путь; она к тому же вовсе и не знает природы коней. Именно на знании этой природы и на тщательном всматривании в путь основывается истинная политика: почти не заботясь о силе и вовсе не собирая вожжей, она достигает, однако, того, что кони бегут и долго, и сильно, и, никуда не порываясь, спокойно довозят до конца.

Знаменитый и древний вопрос: "Кто будет сторожить стражей?" — показывает слабость и тщету этих надежд на силу, когда она вся и во всех видах будет в "подведомственных" руках: никто не усторожит дремлющего раба и не уловит лукавого, хотя бы, теряясь в толпе других рабов, он еще вчера вместе с ними клялся всеми клятвами, что не сомкнет глаз и положит живот свой перед врагом. Итак, нужно не доверяться этим клятвам — нужно в тиши, в темноте подсмотреть, кто истинно любит хранимое сокровище, кто и без клятв не заснул бы над ним. И поняв это, различив верных, нужно, и уже не доглядывая за ними, отдать им охрану ворот. Так поступает мудрый хозяин, какового

и можно ожидать над великими сокровищами истории, на чреде народной жизни, — и, поступая так, он этих сокровищ не растеривает, эту жизнь сохраняет.

XVII

Без сомнения, подобная же забота — не упустить чего, не досмотреть за чем — породила и странное подчинение средних форм образования не университетам, к которым она — только поднимающая ступень, а особым "административным единицам" — округам, ни с университетами, ни вообще с просвещением в его идее и смысле не имеющим ничего общего. Мы говорим о духе, а не о формах: ибо по форме можно связать и вещи противоположные, по природе же они всегда останутся противоположны и будут отвращаться друг от друга. Этим отвращением, этим невысказанным и ничему не покоряющимся антагонизмом проникнуты и разрозненные ветви образования всюду, где оно еще не задохлось в сетях созданных для него форм, стремясь, в силу природы своей, отдалить от себя эти формы, — как она, в силу природы же своей, стремятся его только давить. Но мы думаем, нет исторической необходимости в этом антагонизме, и формы, оставаясь крепкими, могут быть применены к другому, а просвещение может быть свободно.

Без сомнения, университеты лишь сведущи, кто им нужен, кто внимательнее склоняет слух к их учению; и они же сами настолько просвещены, что могут различить, в ком, за всем недочетом форм, есть живое зерно, которое следует полить, и оно "во благовремении" принесет плод. Но вот это различие и право избрания отнято у них, и они обращены в немой сосуд, куда, и уже давно, в силу "странного сочетания велящих звезд", бросается одна шелуха, которую как-то, — но уже как хотят, — а должны они превратить в полновесное зерно. Им говорят, что бросаемое в них блестяще; и когда они отвечают, что это потому, что оно шелуха, они не получают никакого ответа — по непониманию бросающих, что такое шелуха. Люди, никогда не имевшие дела с зерном, и во всех явлениях обращавшиеся лишь к внешней их стороне, естественно и понятно раздражаются, слыша непонятный для них язык; они не доверяют этому языку, думают, что в нем скрывается обман. Но печальная истина состоит в том, что две группы людей, равно правых и равно сведущих, но в сферах, решительно не имеющих между собою ничего общего, призваны говорить друг с другом об одном и потому не понимают взаимных речей.

И не только речей не понимают, но и бьющих фактов, и не только не понимают, но не хотят задуматься. Какие формы были не соблюдены,

какие "программы" не выполнены, чего недоставало по внешности, когда в темную ночь, крадучись по коридорам, со связкой подделанных ключей, шли "лишь на один день незрелые" к замкам, чтобы, выкрав из-под них хитро задуманные темы, завтра же явиться окончательно созревшими и, наконец, торжествуя вступить в университет. Бедный университет, их долженствовавший принять! Но и еще более бедная администрация, которая видела и не поняла, что для этих людей уже никогда не настанет "зрелости". Но факт был не понят и, кажется, не внушил даже потребности обсуждения¹: какую форму он нарушал? Разве это был недочитанный Гомер? Или пропущенная страница катехизиса? Или непонятая теорема алгебры? Это был только рабский страх, жалко изворачивающийся в поисках за документом, и как, какими путями, формами можно огордиться от него, когда он вытекает из чего-то, с этими формами не имеющего ничего общего?..

Этот страх, это душевное рабство есть антитеза тому, что, как высочайший идеал, повсюду постановлено воспитанием. И если он есть, нигде не уничтожен — есть ли где-нибудь воспитание? Не есть ли лишь внешние формы его, за которыми не скрывается уже давно никакой сущности? Сухая, сморщенная, всюду без боли разрываемая кожа, которую мы рассматриваем, — не показывает ли, что живое существо, которое предполагалось за нею, уже давно куда-то и бесследно исчезло; и тщетно бросают перед ней приманки, толкают ее, обрызгивают водой: она не движется, она не видит и не слышит, она давно перестала жить.

И как то, что перестала жить схоластика, обнаружилось ясно для всех в знаменитом споре о числе ангелов, умещающихся на острие иглы, и не требовалось более ни споров, ни разъяснений для всех, кто видел это и понимал, — так точно, если мы имеем ум предков, мы должны бы понять, до какой степени ложен и извращен был труд, который мы клали так долго на возведение призрачного здания, с гордыми замыслами в чем-то "поправить историю", "изменить к лучшему человека", для бедных и темных народов создать наконец "граждан", когда вместо всего этого из воздвигнутого здания, как окончательный продукт заложенных в него рождающих сил, показались эти крадущиеся и дрожащие тени, с бледным от страха лицом и с горящими

¹ Одна кража оканчивающими учениками тем была года за три-четыре до моего выпуска; темы переданы были по телеграфу в другие однородные заведения, что и вызвало производство во всем округе вторичных экзаменов. С тех пор, по неудобству подобного перепроизводства экзаменов, темы рассылаются так, чтобы получались в каждом городе лишь накануне экзамена. Таким образом, у учеников нет времени украсть темы, оно отнято, конечно, не без уверенности, что будь сохранено, — темы будут украдены.

жадностью глазами, которые — стой на пути их не стальной замок, но отечество, вера, все дорогие святыни истории — они не задумались бы и их взломать, чтобы только себя и только на эту минуту насытить, чем нужно.

XVIII

Мне припоминается, как много лет назад, утомившись ходить по длинной красивой зале, с паркетным полом и двойным светом, я сел на конце ее и, сам еще подросток, стал в рассеянности смотреть на лица множества таких же подростков, которые по двое, по трое то подходили ко мне, то удалялись, разговаривая. Не знаю, под влиянием ли уже ранее бродивших во мне мыслей, или по чему другому, но я стал в эти лица, давно уже знакомые и неинтересные, всматриваться с особенным интересом. До окончания курса, до "зрелости", и мне, и этому множеству юношей оставались кому месяцы, кому немногие годы. Как и всегда, между ними шумно играли мальчишки 11—14 лет, бегая, прячась и лова друг друга. И в этот раз, как всегда потом, в продолжительные годы уже собственного учительства, я видел этот возраст с яркою печатью занятости вот эту текущую минутою, с отдачею ей всех сил души и тела; ни ясного склонения к добру, ни ясного уклона к злу в них еще не было: было одно естественное, натуральное добро, которое, пожалуй, влечет к себе даже более, чем привитое, но из которого, во всяком случае, то может быть выведено, возвращено. Это добро было принесено из семьи; оно было слишком ярко, но оно уже начинало пугливо прятаться с нарастанием годов; и ясно было, что не здесь оно выросло.

Совершенно иное впечатление производили лица юношей в 17—19 лет. Они также в большинстве смеялись или очень оживленно разговаривали. Но совершенно ни одного среди них не было, на котором, именно в момент оживления, не отпечатлелось бы какого-нибудь искривленного чувства. Было ясно, как заискивают одни у других, как робеют другие перед возможностью осуждения, и как готовы к этому осуждению более сильные. Приязни, взаимного расположения ни у кого не было; и ни в ком не было открытости. Правда, все это было мелко; но, сравнивая их с тут же бегающею толпой мальчуганов, становилось ясно, что это мелкое — только первый заворот винта, по которому, все расширяя обороты и все восходя выше, в раз уже данном направлении, поднимется душа их всех.

Кем дан был этот заворот, и почему не вправо, а влево, и не в ком-нибудь, а во всех, он уклонился? Эти заискивающие чувства, эта

боязнь в одних и готовность злоупотребить превосходством у других, наконец, — и это чаще всего — тщеславие и тщеславие, ранняя жадность хоть чем-нибудь, хоть на минуту насытить его, — откуда все это? Из семьи ли, где их же видел я гораздо более простыми и естественными, как бы отдыхающими от этих чувств? От церкви ли, где все, что они слышат (в тех редких случаях, когда слушают), стремится подавить эти чувства и заменить их противоположными? Непререкаемо, очевидно, было, что именно здесь выросли они, — на этих паркетных полах, при ярком освещении в два света, при всюду развешанных "таблицах правил", среди точных или путающихся ответов, но ответов все на вопросы знания, все в длинных вереницах фактов.

Ярко дурного чего-либо ни в этих фактах, ни в этих вопросах, ни в этих "правилах" не было; но было какое-то неуловимое и постоянное зло в том целом, что они составляли собою; как было бы безобразие в искусственно подобранном из костей и мускулов теле, которое — пусть каждая часть в нем взята из прекрасного целого, — как новое, было бы непреодолимо отвратительно.

Эта отвратительность искусственного состава, который видом своим так походил на целое, на организм, а в действительности был ему совершенно противоположен, и отражалась как постоянное неуловимое зло в формировании характеров, развитии способностей, наконец, на каждом молодом и уже притворном лице. В миньютюре они все были так же искусственны, так же ложны, так же пусты от всякой веры во что-либо, от всякой любви к чему-нибудь, кроме веры в себя, кроме любви к себе, какая была и в системе, которая воспитала их.

Не было и не могло быть чего-либо дурного ни в одном из сведений, которые так отчетливо и своевременно ложились в их душу. Но длинные вереницы этих сведений, из которых всякое ложилось в свой ряд, ничего не знали каждая о близлежащем ряде, и не только не знали: каждая всем смыслом, всем строем, всем наклоном своим отрицала его; и из этих взаимно скрещивающихся отрицаний в душе воспринимающего вырастало лишь сомнение во всех них. То, что было в этом сомнении умственного, сказывалось как индифферентизм ко всякому дальнейшему приобретению сведений; но в нем была еще и сторона нравственная, которая выражалась как отсутствие к чему-либо любви, уважения, — того, что выше мы называли культом. За потерей всего этого, за недостатком какого-либо далекого и влекущего предмета, что другое оставалось для каждого, как всю силу внимания своего сосредоточить на себе? Тот, кто не поклоняется ничему и не может поклониться, — всегда поклонится себе.

Все разнообразные виды маленьких страстей, маленьких боязней,

маленьких позывов, какие так живо были напечатлены на лицах, мелькавших передо мной в тот далекий памятный час, имели в основании своем этот маленький культ своего "я". Он один остался; потому что всякий другой культ, и даже тот бедный, узкий культ, который каждому был принесен из семьи — культ ее самой и близлежащей церкви, был невозвратно потерян.

XIX

Позднее, вступив в университет, я был поражен его странною запустелостью. Или вымысел и ложь было все, что там и сям, в исторических или художественных воспоминаниях, записано об университетах за прежние десятилетия их существования; или действительно, точно подлежаемые какою болезнью, эти университеты неимоверно пали с тех пор. Они паки не в смысле людности: они пали в том главном смысле, что к ним не приносилось более никакой жажды знания, и если они на что-нибудь отвечали, то, во всяком случае, не на вопрос, не на любопытство ума. В самом университете были, конечно, недостатки — и главнейший состоял в том, что не были развиты его учения, разветвлены в разных направлениях, и в своей совокупности они не представляли чего-либо целого и законченного. Но каждое почти учение порознь было высокопросветительно; оно было культурно в том смысле, как было объяснено это выше: за ним светилась любовь учащего и к предмету своего учения, и к самому учению. Были недочеты в формах¹, в тех внешних проявлениях "ревности по службе", каких совершенно не было в только что пройденной средней школе; но — о чем

¹ Мне известные, на нашем факультете, состояли исключительно в неявлении на лекцию — по слабости, слишком распространенной в отечестве, чтобы называть ее. На вопрос, обращенный к служителю, будет ли такой-то профессор, угрюмый служитель лаконически отвечал нашему курсу: "Со вдовой Поповой беседует". Но, уже явившись на лекцию, этот профессор и известный ученый так читал нам, что ни в ком из слушавших и тени осуждения ему не могло быть за то, что 3-4 раза приходилось напрасно толкнуться в аудиторию. Если бы этого профессора, светило нашего факультета и целого университета, перевести с его слабостью в гимназию, он, конечно, оказался бы там нетерпим — "по неуважительному манкированию службой". В годы моего учения, впрочем, началось уже тление университета и по духу. Любопытно, что его ранними представителями были именно самые юные профессора, которые читали лекции, одновременно готовясь к магистерству, т.е. те *homunculi*, которые, с соблюдением всех парацельсовых правил, только что выварены были среднею школой. Это тление сверху, загнивание вершин, гораздо ярче было выражено на других факультетах — и из них юридический, с "кружком молодых профессоров" во главе, шел впереди всех. Под "тлением" я не разумею здесь ничего другого, кроме появления каких-нибудь иных интересов на кафедре сверх чисто научных; как в студентах под этим словом не разумею ничего, кроме упадка любознательности.

там и понятия не имелось — не было недочета в духе, в действительной преданности делу, в осмысленности отношения к нему. Между очень старыми профессорами были образцы такой высокой человечности, такого удивительно живого и многообъемлющего интереса к знанию и, также к самой жизни, к ее текущему моменту, но в формах благородных, возвышенных, что, конечно, год-два общения с ними воспитывали неизмеримо более, чем долгие годы, проведенные над нелепым "учебным матерьялом" средней школы. Было бы правильнее сказать, что это общение, наконец, возвращало душу к тому нормальному состоянию, от которого так надолго и так далеко, погружаясь во всяческое раздражение и ненависть, она была отклонена в пору восприимчивого отрочества.

Если в ком-нибудь из нас, потом вышедших на широкую арену жизни, был возвращен культ своей родины, ее прошлого, наконец, религии и церкви¹ — это, конечно, было сделано университетом; хотя любопытно, ни одним словом там не *навязывался* этот культ; но он возник сам собою из общего отношения к делу — как общим же отношением к делу, вопреки отдельным зазываниям к этому культу, мы от него непреодолимо отвращались в средней школе.

Благодатный дух древнего и прекрасного учреждения, цельного в своей идее, не растерянного во множестве противоположных и несоединимых целей, веял здесь и отражался невольно, хоть сколько-нибудь, хоть иногда косвенно, иногда много времени спустя, по воспоминаниям, — на каждом, кто имел дорогое право войти сюда, посидеть на этих почтенных старых скамьях, увидеть, послушать этих стариков. Здесь все было хорошо именно потому, что было старо: на этих скамьях, может быть, сидели эти старики; быть может, их не вынесут еще и тогда, когда уже будет учиться новое поколение, с другими мыслями, с другими надеждами и замыслами, чем мы.

В средней школе все было заново заполировано; скамьи были "последних образцов", верно одобренные на каком-нибудь гигиеническом конгрессе и красовавшиеся на педагогической выставке; не было неостриженных голов, учебники были в переплетах; учитель не запаздывал ни на минуту и аккуратно записывал в журнал, что объяснял, кого спросил, кто не пришел в класс. Но... это, наконец, было изобретение, выдумка, которой не перестанет удивляться будущее.

¹ Даже церкви, — как это ни странно, ни удивительно покажется очень многим; но и я, и некоторые из многих товарищей (а мы и ранее все учили катехизис) во всем ее необъятном величии поняли, что такое церковь в истории, лишь на университетских исторических лекциях.

Коллизия этих двух школ — прежней, исторической, которая принимала в себя питомцев, и новой, только что созданной, которая готовила их, была удивительна и сказывалась на первых же порах: она сказывалась в том культе чистой науки, с которым захудалые, обезлюдевшие отделения прежнего "философского факультета" по древнему упорному правилу назывались на акте первыми, выдвигались вперед других; и в том, как, отворачиваясь от этих факультетов (т.е. историко-филологического и физико-математического), густой толпой, уже не неопытные, юнцы валили к хлебным факультетам, т.е. юридическому и медицинскому. "Что ты мне дашь?", а не "чему меня научишь?" — этот вопрос был, ясно, у всех входивших. И столь же ясно должно быть для всякого, до чего затруднительно сделалось положение университета с его традициями, с его воспоминаниями, с его долгом перед своей идеей, раз ему приходилось отвечать на этот вопрос. Лишь впадая в ложь перед действительностью, он мог сохранить прежний идеализм, и, раз открывал он глаза на эту действительность, не оставалось места более для этого идеализма.

Чем далее шло время, тем это раздвоение более возрастало. Очень скоро было понято многими слушателями, что, ради хлеба в будущем, незачем отказываться от него и в настоящем: предоставив готовить первый старым колпакам на кафедрах, они во множестве рассеялись по провинции, где жизнь дешевле и конкуренция на труд слабее. Аудитории поредели: здесь работали стенографы, и старая связь между кафедрой и слушателями сделалась забытым мифом, никого не интересующей сказкой.

И между тем, без этой связи — где же университет? В чем его *собственная* цель? И неужели идея его так мало дала в прошлом, чтобы с нею можно было без сожаления расстаться в настоящем?

XX

Еще позднее, и уже рассматривая те же явления сверху как воспитывающий, я понял, до какой степени в каждом порознь впечатлении, серии которых ложились на душу воспитываемых, был нарушен закон его действия, его благотворного внедрения. И как, в силу нарушения этого закона, они все, в огромной своей массе, не только не достигали ожидаемых от них результатов, но и производили совершенно обратное. Поистине это был ливень, выбивавший ниву. Понятно стало мне, каким образом после восьми лет обучения библейской и евангельской истории, догматам и богослужению — мы оканчивали курс созна-

тельными атеистами¹; почему, усвоив учебники, в патриотическом духе составленные, мы не только презирали прошлое своего народа, но и ненавидели настоящее его до такой степени, что были только на один шаг, чтобы примкнуть к "партии действия"²; что в учебном заведении, которое считалось образцом для других со стороны административного порядка и, кажется, со стороны педагогической³, мы узнали все формы разврата⁴; и не было формы цинизма, кощунства, на которую не были

¹ Это было в 78-м году; у нас в прежние годы, в средних классах, бывали нередко религиозные споры, но перед окончанием курса они уже более не возбуждались. Между моими товарищами только двое, М-н и Орский, не были атеистами: первый жил с матерью-мещанкой и младшим братом, которого подучивал; второй был из очень хорошей и многочисленной семьи, причем мать его, протестантка, и все сестры (православные по отцу) были очень религиозны. Но М-н перешел в наш лагерь, прочитав какое-то поразившее его место у одного известного критика 60-х годов (не у Добролюбова); Орский же, с которым я встретился позднее в университете (он учился в другом), и уже сам начав относиться иначе к религии, стал с таким же жаром разубеждать меня в ней, как я делал это с ним в гимназии.

² Катаясь на коньках, мы обменивались номерами известного лондонского издания "Вперед", которое почему-то так же правильно между нами циркулировало, как если бы оно издавалось в Москве или Петербурге; только отвратительная и глупая форма, в какой выражался наш заграничный политический протест, делала нас холодными к нему; но выражайся он благороднее к поумнее — он нашел бы в нас почву слишком подготовленную.

³ Судя по всегда отлично сходящим ревизиям, под впечатлением которых, без сомнения, вскоре по окончании мною курса, наш директор, отличный дипломат по педагогической части, был передвинут на очень высокий административно-учебный пост. Позднее, уже будучи учителем и служа в разных гимназиях, то близких, то далеких от центра, я был удивлен, как в самой захудалой из них и почти забытой начальством (она была более чем в 100 верстах от железной дороги) учение шло до того бодро, до того деятельно, как ни в одной из ранее мною виденных. "Опоздаешь на пять минут, а весь день испорчен", — сказал мне здесь один учитель в ответ на удивление, зачем он так рано, до уроков, приходит в гимназию. Вообще, и это надо иметь всегда в виду, *нет средств*, при административной постановке воспитания, улучшить его путем усиления и напряжения контроля, который вызовет в ответ лишь напряжение форм — к ухудшению дела, сущности, духа. Сметая все захудалое по форме, но деятельное, благотворное, истинно воспитательное по духу, этот контроль, вместо оздоровления, окончательно отравил бы собою все. Есть только одно средство к улучшению — в перестановке всего дела с административных начал на воспитательно-культурные, через возвращение его в круг, в сферу влияния и единственного руководства древних культурных сил, т.е. у нас — церкви, семьи, университета.

⁴ И некоторые очень странные, поражавшие наше воображение, сделались известны нам с той стороны, откуда внушался порядок и благочиние; что касается до разврата собственно среди нас, то он практиковался, но постоянно в обычных, "терпимых" формах. До какой степени, однако, эта практика была постоянна, я сам узнал из одного краткого разговора, который очень поразил меня. "Где вы были вчера утром?" — спросил я у одного, шедшего классом меня выше, воспитанника, С-ва, очень неглупого и доброго. "А у Давыдки". — "Да что же вы там делали в такое время?" — "А так сидели". — "Да что же за удовольствие?" — "А мы уже привыкли: как кончим уроки, всегда туда отправляемся

бы готовы сами. Это был, если говорить резкими сравнениями, обитый позументами гроб, накрепко забитый гвоздями, куда не было доступа постороннему воздуху и где, среди невыносимого смрада, смрада во всех видах и всего касавшегося, тлели наши души, так доверчиво, с такими надеждами переданные сюда из семьи.

Кому, какому интересу отвечало умножение этих гробов? Кому дорого было бы сохранение в тайне их содержания? Не ясно ли, что и тайна эта хранится, и умножение это возрастает вне всякого и чье-го-либо предвидения. Это одно из тех роковых исторических зол, которые время от времени развивались с неодолимою силою там, где, вмешиваясь в Промыслительное направление судеб своих, стараясь заменить это направление своей рефлексией, человек впадал при этом почти в неуловимые для него ошибки.

XXI

Мы снова возвращаемся к идее Парацельса и к образу, оставленному "доброй памяти" художником Бандинелли.

Есть два пути воспитания: естественный и искусственный. Первый путь, в течение более чем двух тысячелетий истории, был не столько соблюдаем человеком, сколько храним для него Богом: он состоял почти исключительно из непосредственных созерцаний, и под влиянием их, в духе и в смысле своего века, возрастало каждое поколение. В Древней Греции предметом этого воспитывающего созерцания служили памятники искусства, картина всей широко развитой общественной жизни, религиозные процессии, мистерии и более всего прекрасные учреждения полугородского, полугосударственного характера. Как орудие, и очень могущественное, такого воспитания, уже все это понималось людьми того времени: об этом читаем мы у Фукидида, об этом же говорил Демосфен. В более узком, но в подобном же духе, было воспитание в Риме.

В Средние века изменился до противоположности и дух, и смысл воспитания, но его орудия остались те же. С прежними богами ушел в землю и прежний человек. На оголенном месте истории засиял крест, и

— есть деньги, покупаем пиво, нет — у хозяина кредитуемся, а не предвидится к уплате так сидим и болтаем". Наш класс был несколько теоретического настроение и *этой* практики не знал; но, подвергаясь всегда упрекам за отсталость по учению, должен был иметь в виду пример этого старшего класса, который по блестящим успехам считался лучшим в гимназии. Он и действительно был очень хороший, и если предавался такой практике, то лишь по отсутствию какой-либо и чем-либо заинтересованности, помимо своего учебного дела.

к нему потянулись народы; им руководились в жизни; на созерцании, на мысли о нем, на бесчисленных воспоминаниях, с ним связанных, воспитывались. Неузнаваемо переменялся человек, но одно сохранилось в нем — красота его, — став вместо внешней более внутреннею. Рыцарь, как и марафонский воин, как и сенатор в годину Канн, были, каждый по-своему, прекрасны.

Незаметно, как тени облаков под солнцем сбегают с поверхности земли, сбегали и набегали в новые эпохи новые тени на человеческое лицо, на его дух. Каждая эпоха приносила ему с собой новые задачи, новые труды, неожиданные страдания, но и свои утешения. Никогда он не отказывался от труда, никогда не терял надежды выйти победителем из испытаний. Он думал только о борьбе; никогда не задавался он мыслью, хорош ли сам в ней. Но мы, поздние судители его дел, на расстоянии тысячелетий следя за его меняющимся образом, не знаем, в который миг его более любить, когда должно его глубже чтить.

Таков был человек, как продукт естественных рождающих сил всякого народа и непосредственных созерцаний своей эпохи. Вид мастерской старого художника, который мы избрали как мимолетный образец такого созерцания и вместе как пример естественного воспитания, должен, при этих мыслях, безгранично раздвинуться в наших глазах. Все входит в картину такого воспитания: битвы и героизм, семья в ее светлые минуты, гул моря и синева небес, смерть близких и звук церковного пения. Это — необъятная школа, в которой воспитывающимся было человечество, и воспитывающим — Промысел, которому оно оставалось покорно.

С конца прошедшего века, когда старые произрастания погибли и для всего заложены были новые семена, одно семя заложено было и для нового воспитания. Его бросил на землю, незадолго перед великим историческим катаклизмом, человек, о котором из всего, что было высказано, вернее всего было бы сказать, что это был самый искусственный, наименее естественный по натуре из всех, какие знает история, порождений женщины; и вместе он одарен был силою притяжения к себе, какою мало кто обладал в ней. И мощь даров его, и искусственность его природы отпечатались в трудах его: семя, им брошенное, жадно принялось землей; и когда взросло оно, осенило землю зловещей тенью.

Идея искусственного человека, образованного вне естественных исторических сил и вне какой-либо веры своего века и народа, удивительным образом увлекла за собой все народы Европы. Никто не хотел видеть в порождаемых поколениях повторения пороков своих, заблуждений, бедствий; всякий народ, рождая, торопливо отвращал в сто-

рону лицо свое, боясь, как бы оно не отпечатлелось на образе его детей. Опасение, что порожденное останется вовсе без образа, что, не имея пороков, оно не получит и добродетелей, не страдая — не узнает и радостей, — никого, по-видимому, не смущало. И между тем, немного еще времени прошло, как появившиеся во множестве тени без лиц, которые невозможно любить, которым невозможно что-нибудь передать, которые бродят по лицу Европы без родины, без религии, без семьи, — поражают ужасом всех, кто, не щадя усилий и не останавливаясь перед заклинаниями, так недавно еще вызывал их. Теперь мы готовы бы новыми заклинаниями прогнать их со своих глаз; но едва ли не поздно уже это, и, главное — наш собственный язык коснеет, руки бессилеют, и разум становится слаб.

Мы бессильны, безвольны, мы робки умом, чтобы понять, как вместо того, чтобы возвысить человека путем искусственных манипуляций, в действительности уронили его; вместо того, чтобы поддержать культуру, историю, — подсекли ее под главный корень. Мы забыли, что ни история не может продолжаться, ни человек жить без чего-нибудь абсолютного, что или сердцем своим, или сознанием он понял бы как единственно для себя ценное. И вот, имея сами в себе лишь остатки этой крепкой веры, мы у детей своих отняли ее совершенно и заменили ее созерцанием относительностей. Все есть в длинном ряду этих относительностей, всякая красота заключена в нем, кроме одного — ощущения абсолютности чего-нибудь; по отношению к чему остальное и было бы относительно, условно. И такова вечная природа человека даже на ступенях ее формирования, что образуемые поколения, непреодолимо отвращаясь от этих гирлянд помертвевших цветов, какими мы их увиваем, ищут прилепиться хоть к трепетному, но живому листку среди них, привязаться хотя бы к посредственному, хотя бы к дурному, но с той беззаветностью, какой требует для себя все абсолютное. Но мы не понимаем этого; не видим той боли, которая испытывается душою, когда она стремится и не находит для себя никакого средоточия и никакого источника для своей жизни; мы все держим, как древний Парацельс, идею искусственного состава человека, и всякий раз, когда *homunculus* начинает принимать слишком человекообразный вид, мы снова возвращаем его к прежней бесформенности, опасаясь, что в нем не соблюдены все пропорции: или недостает "древности", или есть избыток "новых веков". Так, держа перед формирующимся существом несколько образующих форм и отодвигая каждую, как только она начинает слишком налагать на него свои черты, — мы создаем те бескровные тени, которые так пугают нас.

Первою задачею, если мы в самом деле хотим прогнать эти тени,

должно быть возвращение в воспитание этого абсолютного. Только оно имеет зиждительную способность — растить около себя силы души; на беззаветной преданности себе, на безграничной любви — воспитывать их. И это тотчас приводит нас к мысли, что воспитание должно быть поставлено под покров таких великих исторических институтов, в которых сохраняется это абсолютное, есть вера в одно что-нибудь — около чего не стоит ничего другого смущающею тенью. В государстве есть это абсолютное, несравненно ценное, без чего невозможно продолжение исторической жизни, — это *форма*: оно своими учреждениями, своим законом, общим повсюду и для всего однородного, обволакивает всякое содержание; но оно бессильно создать какой-нибудь идеал, придать содержанию смысл, одухотворить форму, которую вечно одну вечно тклет по самой своей природе. Это и делает его не воспитательным. Взамен этого есть другие исторические институты, которые столь же бессильны коснуться формы и имеют отношение исключительно к содержанию: это — идеальные учреждения церкви, семьи, наконец, университета, как законченного выразителя умственных стремлений истории. Будучи различны между собой по объему и смыслу, они сходны в одном — в своем воспитательном смысле; по-своему каждый, но они все — верующие; в каждом из них есть свой идеал, и, не сливая человеческого лица в одно, они различным его выражениям придают одно общее — красоту. Только к этому мы и должны идти, это одно и может составить задачу воспитания: чтобы человек, к чему бы различному не стремился, во всяком стремлении оставался прекрасен.

Мы не говорим при этом о формах: они естественно и сами собой разовьются около содержания, отвечая слепо его движениям, его жизни, — и государству может принадлежать задача укрепления их, охранения; но это есть вторичное, и значило бы погубить дело в начале же, если бы захотели, создав формы, ожидать, когда в них зародится содержание. Эта погубляющая ошибка и была всюду сделана. Без знания истинных законов образования человеческой души, руководясь только заботой о легкости созидания самых форм, — они всюду были установлены в таком виде, в каком не могут выработать никакого сколько-нибудь желательного содержания. Не были и не могли быть приняты во внимание те пластические условия, при которых только и образуется, и воспитывается душа: вместо того, чтобы класть на нее впечатления длинные, взаимно скрепляющие друг друга, и ими индивидуально действовать на индивидуальные же ее особенности, всюду установлены были впечатления прерванные, взаимно дисгармонирующие и оголенные как в форме своей, так и в способе передачи до потери всего индивидуального. Урок, смешанная из разнородного

программа, оголенный учебник — это стало неотделимо от самой идеи образования; хотя, поистине, никогда не появлялось в истории ничего, что было бы в таком же антагонизме с истинным образованием, как все это. При помощи именно их, которые удалили нового человека от созерцания, от медленного впитывания в себя всего, чем жила история и что было свято в течение тысячелетий для людей, образовались те уплотненные, тяжелые души, которые, куда бы и зачем ни появились, всегда тяготеют только к низинам; и мыслью, и воображением, и чувством падая на дно, туда же влекут за собою все, за что ни берутся, к чему ни прикасаются.

Никогда эти тесные, неподвижные формы, однако, так удобные для созидания и поддержания, не могли бы развиваться из самого содержания; никогда бы священник, ученый, филантроп, всякий любитель и знаток души человеческой не остановил речь свою потому, что отсчитанные минуты протекли, ни стал бы говорить пустое, потому что они еще не кончились; и ни один же, кто имеет какую-нибудь жалость к другому и наконец к себе, не стал бы, снимая с истории убор ее, передавать ее высокое и святое содержание в скользящих книжках с одною заботой, чтобы они легко и без воспоминания ложились, куда нужно. Никогда все это, что на пространстве целой земли год за годом и десятилетие за десятилетием ниже и ниже спускает историю, дальше и дальше отодвигает человека к его первоначальной простоте, — никогда не могло бы это получить силу, если бы, как всегда до нашего века, растущие поколения, оставаясь в семье так долго, как можно, вводились затем под покров церкви, и ею под водительство науки, чтобы затем, и уже сформировавшись духом, силами своими послужить и государству, которое все это сберегло, но ничего из этого не нарушило.

XXII

В христианском обществе, в противоположность древнему языческому, каждый единичный человек уже не есть только гражданин. Слитность, единство лица его, которое в античном мире безраздельно выражалось в государстве и удовлетворялось совершенно принадлежностью к нему, в новом мире не находит удовлетворения в одной этой принадлежности, и, оставаясь гражданином, каждый хочет вне этого и независимо от этого, быть еще христианином, отцом, наконец — мыслителем или художником. Человек сделался сложен; и было бы глубочайшим поворотом его от христианства вновь к язычеству, если бы он захотел снова простоты и слитности в себе, если бы чему-нибудь одному в своем сложении он допустил распространиться до целого, до погло-

щения всего себя.

Это открывает нам исторический смысл явления, которое в значении его для человека, для индивидуума, мы пытались объяснить выше. Переход воспитания из лоно семьи и церкви к государству не без причины совпал с началом прошедшего века и началом нынешнего: это была эпоха, когда вообще европейское человечество, как бы утомленное христианством, стало медленно сходить с основ его, чтобы переступить на новые, языческие. Но, по истечении восемнадцати веков христианской культуры, непрерывного исторического созидания, этот переход имеет свой особый оттенок и смысл.

Непрерывно возрастая до этого времени в своей сложности, в богатстве и разнообразии своих выражений, лик европейского Запада с тех пор начал обратно суживаться. Лишние, столь долго его красившие тени, одна за другой сходят с него, и оно вновь принимает всюду, во всех направлениях, одно выражение. Быть христианином, как и быть действительно независимым художником или мыслителем, наконец, быть отцом прочной семьи — все это слишком сложно и трудно стало для человека, все это требует обилия творческих и организующих сил и, не находя их более, слагается для облегчения индивидуума. Рост государственности в Европе всюду идет об руку с развитием индивидуализма — этого уединения человека в себя, вдали от общества. Гражданский долг, который затем остается, — это уже давно не долг римлянина или даже афинянина; это — только отсутствие всякого долга, озабоченности, предоставление другим — досужным или оплаченным людям, нести бремя тревог, ответственности, какие возлагает на каждого полнота человеческого существования.

Все связи, всякий лишний убор прав, обязанностей, забот слагается с себя индивидуумом, чтобы, уйдя из-под них, он мог на досуге предаться своим маленьким наслаждениям, или просто, чувствуя себя свободным, не чувствовать позади себя никаких напоминаний. Мы сказали о язычестве, к которому передвигается европейское человечество с христианских основ; но это — не прежнее мощное язычество Рима; это новое маленькое язычество перед своим "я", в стороне от больших путей истории, и даже с возможным забвением об этих путях. Передача без сожаления, без особых тревог, детей своих на заботу далеких учреждений — это имеет в основе своей на Западе указанное стремление: семья тяготит человека; дети составляют не радость уже, но бремя, — и если возможно без преступления сбросить это бремя, оно

сбрасывается¹, как в других случаях сокращается². С другой стороны, поднимая его на свое попечение, государство делает уже много, если делает что-нибудь. Брошенное, тяготящее всех поколение — это алчное племя голодных ртов и еще каких-то запросов сознания, должно быть довольно и за то малое, то грубое, что не по любви, не по милосердию, но по необходимости дают ему. "Не тяготи меня видом своим", — говорит ему каждое отходящее стареющее поколение; "не смущай меня явностью своих пороков, — говорит ему государство. — Соблюдай меру, сохрани внешность, и скоро ты будешь господином всего".

В жизни, где все идеалы уже позади и вперед ничто не манит, эти невысказанные мысли и действительность, которая явно из них вытекает, не могут внушать особенного удивления. Совершённый труд, историческое утомление имеют свои права на прощение; но если бы общество, еще молодое, с неиссякаемыми силами, даже и не сознавая возможности подобных мотивов, делало по форме, однако, то же — что могло бы для него послужить оправданием? Что оно сказало бы перед судом детей своих, судом правым и, без сомнения, осуждающим?

В. Розанов

Сканирование, распознавание, вычитка и оформление выполнены коллективом сайта <http://varvarin.ru>

¹ Любопытно, что уже Руссо, родоначальник нового воспитания, рождая детей, — бросал их в воспитательный дом.

² Известно, что во Франции, родине Руссо, уже давно, и именно в зажиточных семьях, практикуется способ ограничивать число детей; и, как писалось уже лет 12 назад, это быстро распространяется (но из Франции) и в других странах.